Леонид Семенов ◆ Стихотворения. Проза

Леонид Семенов

◆

Стихотворения Проза

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Русский поэт, часть жизни — активный толстовец, внук выдающегося путешественника П. П. Семенова-Тян-Шаньского

Леонид Дмитриевич Семенов (1880–1917) — талантливый русский писатель начала XX века, внук знаменитого ученого и путешественника П. П. Семенова Тянь-Шанского. Во время учебы на историко-филологическом факультете (был университетским товарищем А. Блока) слыл монархистом и «белоподкладочником». Был близок кругу Д. Мережковского и З. Гиппиус, в Москве подружился с А. Белым. Рассказы Л. Семенова высоко ценил за нравственную позицию Л. Толстой. Опубликованный по рекомендации Л. Толстого в «Вестнике Европы» рассказ Л. Семенова «Смертная казнь» послужил, по-видимому (таково было мнение А. Блока), толчком к написанию знаменитой статьи Толстого «Не могу молчать». Единственная поэтическая книга Л. Семенова — «Собрание стихотворений» — вышла в 1905 году. А. Блок отозвался на нее сочувственной рецензией.

В настоящем издании с доступной нам полнотой представлены все дошедшие до нас произведения Л. Семенова, имеющие историко-литературное значение.

- Леонид Дмитриевич Семенов
  - ○
  - ○ Грешный грешным
    - ■
    - ■ Часть первая
      - ■ 1
      - ■ 2
      - ■ 3
      - ■ 4
      - ■ 5
      - ■ 6
      - ■ 7
    - ■ <Часть вторая>
    - ■ Часть третья
  - ○ КОММЕНТАРИИ
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6
  - ○ 7
  - ○ 8
  - ○ 9
  - ○ 10
  - ○ 11
  - ○ 12
  - ○ 13
  - ○ 14
  - ○ 15

- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

Леонид Дмитриевич Семенов
Стихотворения. Проза

Софии

ЛЕОНИД СЕМЕНОВ

Между 1913 г. и 13 декабря 1917 г.

Леонид Семенов

Стихотворения Проза

Издание подготовил
В.С. БАЕВСКИЙ

МОСКВА НАУКА 2007

Грешный грешным

Бывают дни у человека, когда какие-то невидимые силы особенно сильно возвращают дух человека, заставляют оглянуться назад, на себя, на все пройденное им прошлое, чтобы еще вернее оценить все, что с ним было и глубже, чем это было тогда, когда это было им переживаемо и тем тверже стать на найденном пути. Такое время пришло ко мне в этом году, когда после нескольких лет стремительных перемен, когда некогда даже было озираться назад, я был оставлен одним с собой далеко от друзей и оторванный от видимого труда, которым за эти годы научился наполнять свое время. В это время я по немощи своей единственное утешение себе находил в том, что уединился от всей тяжелой обстановки, какая была кругом, и свирепых мыслей, пробуждаемых ею, — в свое прошлое и в встречи, которые были в нем. Так и составились там понемногу эти записки.

Часть первая
<СЕСТРА МАША>

1

Говорят люди, и это есть страшные слова, что нужно человеку испытать все: и добро, и зло, что без зла не будет в нем полноты жизни. Но зло не есть жизнь, а есть отсутствие жизни, и нет конца богатству жизни для тех, кто ищет только добра, кто от юности ищет только Его, боясь потерять и минуты на что-нибудь другое. И нет конца горю и раскаянию того, кто, увидев добро, начинает познавать, как безвозвратно и как многое он потерял тем, что не всегда стремился к Нему, тратил время на зло, на пустое… Иногда даже кажется мне, что есть грехи непростимые… Может быть, даже это и есть единственная вечная мука на всем Свете мироздания, что в памяти нашей некоторые грехи наши никогда не изгладятся, никогда не превратятся в Свет. Пусть Бог, пусть все люди простят мне их, я не прощу их себе. И может ли Он Всеблагий и Всемогущий сделать так, чтобы мы их простили себе, не нарушив нашей свободы, которая есть драгоценный дар Его нам.

До 1905 года я жил жизнью, которою живут все образованные люди моего возраста. Ничем особенным не выделялся из них и едва ли кто из окружавших меня подозревал всю грешную язву души моей, ту язву, которую они и сами в себе часто не видят. Был для всех обыкновенным, ни плохим, ни хорошим человеком. Да и было во мне рядом с тьмой, о которой упомянул, и много хорошего, чего не скрою, — как оно есть и во всех людях. Но это-то и делало тьму еще более темной. Пожалуй, самым постоянным и положительным во мне Светом в эти времена было сознание, которое вылилось тогда однажды в стихотворение, написанное в 1903 г. «Свеча» озаглавил я его; в нем пропускаю строки, присочиненные тогда ради рифмы.

Я пустынею робко бреду
И несу ей свечу восковую.
……
Кем? Зачем мне она вручена?
Я не знаю… Робею…
Но не мною свеча зажжена,
И свечи загасить я не смею.

Это стихотворение я любил тогда, но и много позднее часто служило оно мне удовлетворительным ответом на все самые тяжелые вопросы жизни и предупреждало от мыслей о самоубийстве. Но сознание, которое вылилось в нем, сознание зависимости моей жизни от Кого-то Неведомого, Который дал мне жизнь и Которому я должен поэтому дать отчет в ней, было все же для меня неясно. Кто Он? Этого я не знал. Бог ли он, вневременное вечное начало над нами, — Единственный и Всемогущий Судья и Творец наш, — или только история человечества, слепые и таинственные силы, создавшие меня в потоке времени и вынесшие на их поверхность; чтобы здесь явил я накопленное ими содержание свое другим. Скорее склонялся к последнему, т. е. верил, как верят и все образованные люди, что знания мои, таланты, способности и умственные силы, развитые воспитанием и положением моим в обществе, и есть тот Свет-Свеча, которую принес я в пустыню жизни, чтобы ею послужить людям в их движении вперед к какой-то неведомой нам цели, в движении, которое и зовется на их языке прогрессом. Но сомнения, есть ли моя личность и ее богатство еще Свет, а не тьма, — этого сомнения еще не было во мне. Только мучили вопросы — как и к чему лучше всего приложить свои силы.

Был же я к этому времени студентом четвертого курса Историко-филологического факультета, готовился уже к государственным экзаменам и открывались мне за ними разные дороги. Мог я стать ученым, оставленным при Университете для дальнейшего образования по избранным мною наукам, ибо был любим своим профессором-учителем[1] и занимался в Университете хорошо; мог идти и на какую-нибудь государственную или общественную службу; но всегда больше манило меня к себе, пожалуй, писательство, в котором я уже выступал и довольно удачно, т. е. заслужил сразу признание в самых передовых в то время литературных кружках… Но ничто не удовлетворяло. Я был на перепутьи, что и сам чувствовал, т. е. чувствовал, что должен как-то проявить себя и, может быть, послужить другим людям, даже мучился иногда укором, что ничего еще не сделано мною в этом отношении, но и не знал, как и что мне делать. Не было ничего твердого, устойчивого во мне; вся жизнь представлялась часто быстрой, утекающей куда-то рекой, за которой мне трудно поспеть, так что и страх даже был, не останусь ли я и вовсе со всеми своими честолюбивыми и самоуверенными замыслами где-нибудь на мели вне ее…

Эти вопросы — для чего я живу и что должен делать — пробудились во мне рано, и тогда же пробудились под ними и более глубокие вопросы, чем просто те: как и к чему приложить

свои силы; только не умел я в себе отделить важное от неважного и часто неважное, под влиянием других людей, принимал за важное. Впервые же остро и чисто поднялись они во мне в возрасте 14–16 лет. Тогда всей силой души своей я почувствовал вдруг, что все то, к чему меня готовят окружающие меня люди, мои родители и наставники, чему учат и чем сами живут, не есть еще то, к чему призван человек, и вообще не то, что есть правда. И первым решением воли, не пожелавшей расходиться с велениями внутреннего ощущения правды и лжи, было: оставить гимназию, ибо ее-то и почувствовал я прежде всего ложью, отчасти потому, что кругом себя и в семье часто слышал разговор взрослых, осуждавших классицизм и казенщину гимназий и удивлявших меня тем, что, несмотря на свое осуждение, держат нас в этом зле. Что делать взамен учения в гимназии и вообще взамен того, что все кругом делают, я хорошенько не знал, но для себя находил выход в том, что вообразил себе свое призвание в музыке и вообще в искусстве, с которыми я связал свои первые, только что пробудившиеся мечты о служении всему человечеству, мечты чистые вначале, но скоро отравленные чтением жизнеописаний великих людей, вливших в душу яд честолюбия и славолюбия. Я заявил отцу о своем желании оставить гимназию. Отец, конечно, не согласился, начал меня уговаривать, я — спорить, и около года продолжалась у меня упорная борьба с ним и с гимназическим начальством за то, чтобы отстоять свою свободу от них. Борьба кончилась ничем, но была так остра, что я заболел и был одно время даже при смерти, отчасти оттого, что и сам желал этого, когда, отчаявшись в своих силах и возможности для себя быть верным принятым мною решениям, перестал видеть смысл в своей жизни. Но в конце концов смирился и заключил с родителями нечто вроде договора, что кончу гимназию, а взамен того получил от них свободу заниматься музыкой и чем хочу.

Но в этой борьбе, в этом первом более или менее самостоятельном столкновении моем с другими людьми на почве сознания своей одинокости и того, что я не нашел себе никакой поддержки в других людях, пробуждалась во мне еще и другая и более глубокая неудовлетворенность жизнью и самим собою. Себя запертым увидел я в своем замке. Хочу из него рвануться к другим людям и не могу. Нет путей у нас друг ко другу и нет ключей, чтобы выйти на волю, на простор и там слиться всем вместе в любви. Тогда слова в 9-й симфонии Бетховена: «падите ниц вы, миллионы» и шиллеровский романтизм, вынесенный из немецкой гимназии, наиболее отвечали моим переживаниям, вдохновляя на борьбу с окружающими. А борьба усложнялась вопросами о долге, о любви, о том, что такое любовь, чего должна

желать она людям, как могут быть две разных любви. Ибо видел любовь родителей ко мне, которая желала мне и другим людям одного, я видел свою любовь, которая желала всем другого. К ним начала присоединяться и любовь к другим людям, сначала к младшим меня в семье, к братьям и сестрам, которые, подрастая, вступали или должны были вступить в ту же полосу противоречий своих стремлений со стремлениями старших. А в этой любви был уже какой-то жуткий страх. Впервые приходили мысли о конечности всего земного, когда видел других людей перед собой и любимых и начинал сознавать, что все живут — вот живут на земле, куда-то спешат, чего-то ждут, а потом вдруг куда-то обрываются и исчезают все… приходит старость, смерть. Куда же исчезает все. И не остаемся ли мы обманутыми жизнью, которая в молодости так много и так заманчиво сулит нам прекрасное на земле, а потом все отнимает, не исполнив, может быть, и половины того, что сулила. Уже содрогалось сердце перед призрачностью всего видимого.

Но неуменье, да и невозможность, для взрослых ответить мне на все подымавшиеся мои вопросы будили во мне, с одной стороны, сознание, что и старшие меня живут слепо, а с другой стороны, может быть, даже и некоторое высокомерие, что в свою очередь, рядом с кажущимся утверждением моего особого от других призвания к жизни — ибо так понимались окружающими меня мои стремления к музыке — еще более увеличивало мою отчужденность от всех и холодную на вид замкнутость в себе. Любовь тлела под этим, но не умея себя, как это часто и бывает в людях, прямо и просто проявить им, искала выхода в нелепой и фантастической мечтательности, какой и явилось для меня искусство. Так создавался безысходный круг противоречий, юношеская драма, может быть, и многих таких же, как я, юношей в те времена, да и ныне, которая тогда так и не нашла себе никакого разрешения. Но вопросы, поднятые ею, раскрыли предо мною язвы жизни, которою жил я и к которой готовился, а язвы, оставаясь долго незамеченными, были болезненны теперь уже при всяком и малейшем прикосновении.

Наконец увлечение музыкой мало-помалу отошло, и причиной тому были опять те же более глубокие запросы и алкания души и сердца, которых музыка очевидно не могла удовлетворить. Но только много позднее решился я это окончательно осознать, т. е. признать, что в музыке и вообще в искусстве есть препятствие на пути человека к Богу. Есть соблазн в них так называемыми эстетическими эмоциями (художественными впечатлениями или просто внешними щекотаниями чувств) заменить те внутренние, нравственные

удовлетворения, которые ищет дух, когда чувствует себя одиноким и оторванным от других людей, когда жаждет Бога. Блаженны минуты юношей и девушек, кто знает их, когда просыпается в них дух и алчет Вечности — своей родимой Матери. И я такие минуты знал в это время, то иногда при взгляде на звездное небо по ночам, когда чувствовал в нем дыхание чего-то близкого, бессмертного, тихого, и умилялся перед ним, — то иногда в редкие за всю жизнь запомнившиеся минуты откровенных почти мгновенных разговоров с теми или другими немногими близкими людьми, с которыми рос, с братьями или сестрами в детской или товарищами, когда истинная любовь и трепет и жажда чистой жизни охватывали сердца… Еще был в детстве более раннем, чем это, год чистых и жарких молитв к Творцу веков, когда мальчиком на коленях, на кроватке и без заученных слов, но со слезами просил я, чтобы Он помог мне перестать шалить и не огорчать родителей. Мне было тогда лет 10 или 11 — и тогда уже испытал я силу услышанной молитвы, но потом это забылось. Думаю, ни один человек не лишен в детстве и в юности таких огней в ночи, и страшно забвение, которое приходит после и отводит нас от них. Но музыка, конечно, не могла заменить того, чего алкало в эти минуты сердце, она могла только это подменить. И живо помню горькие минуты разочарования, в котором долго сам себе не хотел признаться, но в те минуты, когда еще будучи гимназистом и вернувшись домой из какого-нибудь концерта, где готовился с торжеством и благоговением прослушать симфонию Бетховена или Чайковского, опять и опять находил, что ничего там, в сущности, особенного и не произошло, но все <как> было, так по-старому и осталось. Шли мы туда, собирались, как камешки холодные, в кучку; побыли вместе и опять рассыпались каждый в свой угол, оставшись такими же, как и были. Никакого таинства чуда, которого ждал, никакого слияния всех со всеми, про которое силился себя уверить, что оно есть в искусстве, ничего такого там не было. Мало-помалу это разочарование — как <ни> не хотелось мне самому в этом признаться, становилось так мучительно, что я вовсе уже переставал играть на рояле при людях, которых не чувствовал зараженными своим увлечением. Достаточно было одного рассеянного, неподходящего слова какого-нибудь или входа в комнату постороннего к музыке, напр. горничной или служащих в доме, а в деревне в особенности присутствия поблизости простых людей — крестьян, которые могли бы мою музыку услышать и осудить, — чтобы все очарование музыкой исчезало как дым. И была честность, которая не позволяла эти разочарования приписывать всегда отсталости и

грубости других людей, но и видела уже, что это дело не в них, а в самой музыке и в самом искусстве, которое уже по одному тому, что ограничено телесностью, не может быть путем слияния всех в Единое, и не есть еще то, что мне и всем нужно. В концертах иногда мучился жестокой мыслью, что какой-нибудь капельдинер, служащий при зале, или литаврщик и барабанщик, играющий в оркестре за деньги, здесь присутствует только по нужде и никогда не станут причастными к тому, в чем мы хотим видеть наше священнодействие и торжество. Так мало-помалу всякое удовольствие от музыки отравлялось, пропадала охота ходить на концерты и самому заниматься ею… Но это пришло окончательно уже позднее, когда на смену музыке пришли и другие соблазны, а пришли они, когда поступил я уже в университет.

Здесь первый несколько аскетический пыл души понемногу распылился в шумной и бурной внешней жизни, которая обступила кругом. Сначала сходки в нем и мое участие в них, довольно бессознательное, но мятежное, на почве бунта личности против толпы, власть которой впервые увидела здесь, над собой и над другими, и на почве весьма не проверенных чувств моих, вынесенных из дворянской семьи, заняли почти целых два года моей жизни, оба первые года, которые провел на естественном факультете. Потом к прежним соблазнам (художественность, честолюбие, самолюбие и другие) прибавились новые, и из них самый острый и страшный для юного возраста: соблазн половой похоти. До этого я был довольно строг к этим чувствам в себе, или, вернее сказать, робок и стыдлив в них, хотя, конечно, и во мне пробудились они естественно в том возрасте, в котором это им и следует. Но теперь, окруженный и книжками, и людьми, свободно посвящавшими таким вопросам много внимания, и я сам стал искать в себе развития этих чувств, боясь отстать от других, и боясь почему-то именно в этом «не быть, как все». Сначала это было именно так, а потом и действительно возбужденное и воспаленное воображение сосредоточило их на одной девушке, с которой я в это время встретился. И начались самые позорные и гадкие годы моей жизни. Теперь я думаю об этом так: нет, конечно, ничего удивительного в том, что эти чувства были во мне, и в них самих нет еще греха; и нет ничего удивительного в том, что Бог в сердца людей, почувствовавших друг к другу плотское влечение, в сердца мужчины и женщины и еще больше юноши и девушки, влагает любовь, нежность, уважение, внимание их друг на друга, сострадание, признательность, чтобы, соединившись, они жили друг с другом не только как животные, но и как существа, одаренные разумом и

душой, и нет ничего удивительного, что любовь к девушке, рядом с похотью к ней и даже прежде нее, как это часто бывает в людях, стала волновать меня. Она могла несколько отвечать и моей тоске в одиночестве и потребности хоть кого-нибудь любить, выйти из себя для других людей. А девушка вполне доверялась мне, и мог я ей быть полезен, мог быть ей даже опорой в ее стремлениях к широкой и самостоятельной жизни, о которой она мечтала. Во всем этом нет ничего странного. Но как могло случиться, что выхода из своего такого положения я стал искать не в любви к ней, а именно в похоти моей и самый миг моей низкой страсти в мечтах представлял себе, как она отдаст себя мне, стал считать за цель и смысл всей моей жизни; и как могло быть это, когда при этом хорошо сознавал я, что моя похоть идет в разрез любви, ибо эта похоть моя разделялась девушкой и мучила ее и пугала, роняла меня перед ней. И как могло случиться, что мучая так себя и девушку, я стал впутывать в свое мучение еще и других, другую тоже девушку, полюбившую меня, или вернее развращаемую мною и моими стихами, и наконец, превращая все это в игру, т. е. любуясь этим и воспевая блудную страсть свою в стихах, показывать ее другим людям и даже печатать их, чтобы получить от них похвалу и дань удивления. Этого уже я не могу себе простить. Конечно, эта похоть и то, что я делал, и есть содержание почти всей мировой литературы, всех бесчисленных ее романов, стихов и драм, которых был так начитан я тогда. Но перед Богом все-таки нет и не может быть этому прощения. И когда вспоминаю теперь об этом, то могу себе это объяснить только той полнейшей праздностью внешней и внутренней и неверием в Бога, в которых жил тогда. Не было никакого дела у меня, которому бы был я предан, а поэтому и все, что только возникало во мне, казалось мне и важным, и великим. Ты только цветок на поверхности вод, а поэтому и давай всему волю в себе, хотя бы цвет твой и был порочен. К такой мысли и к такому взгляду я приходил и тогда иногда. А это-то и есть тот грех, о котором сказал в начале своего писания, что не могу себе его простить. Не было бы еще этого греха с моей стороны, если бы я не знал, что то, что я делаю, — грех. Но с самого начала, как я себя помню, я был человеком раздвоенным, т. е. человек, который уже ни в чем не мог окончательно забыться и потерять те вечно недоуменные вопросы обо всем, что ни видит и что ни возникает в нем, — для чего это и какой это имеет конечный смысл. Мы не знаем, отчего в одних людях эта высшая требовательность сознания, идущая от всего единого, конечного смысла, — есть, а в других ее нет, это неведомая для нас воля Создателя, управляющая судьбами человеков, но для тех, в которых эта

требовательность уже возникла и которым она нигде не дает покоя, для тех уже ничего не остается, как пойти за ней с доверием и решимостью удовлетворить ее. Я же знал, что увлечение мое похотью моей и мученье мое ею девушки бессмысленно и нехорошо, как знал это и раньше про свою музыку, и теперь про стихи, но упорствовал в этом, упорствовал почти сознательно, потому что не хотел взглянуть до конца бесстрашно в себя и продумать до конца, что же наконец осмысленно и хорошо. Жалко было расстаться с теми минутными наслаждениями, которые дарила бессмысленность, и не верилось в то, что есть вообще конечный смысл и высшая ценность всего, не верил в Бога. Да. Был как листок, оторванный от родимого дерева и гонимый ветрами то туда, то сюда, листок, для которого нет ни низа, ни верха. А это и есть игра. Игра — для человека, знающего логику и ощущающего в себе законы ее, — не мыслить согласно им, а мыслить нарочно бессмысленно и нелогично; но такая же игра, а не жизнь — и поступки человека, который внутри себя читает таинственные, может быть, и не совсем еще ясные ему, но повелительные законы о том, что хорошо и что худо, что имеет ценность перед Высшим Смыслом жизни и что нет, но живет не так, как эти законы велят, а против них. Ты — листок на дереве жизни, но не на том, который видишь кругом, а ты в тех мерках добра и зла, которые заложены внутри тебя, они — листочек на неведомо прекрасном и невидимом для очей плоти дереве жизни; их волю исполни, как исполняет листочек волю дерева, на котором вырос, не задумываясь, для чего это и как это понравится другим, исполняет потому, что в этом жизнь его, и потому, что знает, что как только оторвется он от нее, то будет уж сухим и мертвым, — и вот эту-то жизнь человеков я и топтал в себе.

Неизъяснимо ощущение осмысленности и вечности того, что делаем, когда исполняем волю Добра, но так же неизъяснимы нам и законы логики, к почему они именно таковы, как они есть, а не другие, но мы все же исполняем их, когда хотим мыслить, потому что не исполнять их для мысли — значит не жить мыслью, не мыслить вовсе; почему же отрываемся мы от законов того, что добро и зло, что правда и неправда, что искренность и неискренность законов, так же таинственно вложенных в нас, как законы логики в разум, и законов, в которых одних только и есть жизнь духа и без которых дух так же мертв, как мертва нелогичная мысль. Вот в этом-то мертвом состоянии я и находился тогда, думая не о том, что хорошо во мне самом, перед судом Вечно-зрящего, хотя и неизвестного мне судии и Его законов во мне, а что хорошо перед людьми, чтобы не отстать в

их глазах от других, понравиться им и даже опередить всех и отличиться в безумной игре и гонке внешней жизни.

Но то, что мне самому представлялось красивым в стихах и в разнузданном звонкими словами воображении, то в обыденности тогда являлось вовсе в другом свете. Да и не мог же я в самом деле хоть иногда не видеть, что ничего, в сущности, я особенного со всеми своими страстями и запутанностями в них не представляю и что все это было уже миллионы раз пережито до меня другими, и так же и даже еще гораздо лучше меня воспето ими и в стихах и в драмах. И скучно становилось тогда от всего. Но еще страшнее были минуты, иногда посещавшие меня, когда, оставшись один и немного очнувшись от угара, которым опьянял себя среди людей, вдруг поистине ничего не находил в себе: кто я и что я — и не находил уже в себе никаких нравственных устоев, на которые бы мог опереться, чтобы удержать себя от любого приходившего в голову поступка….. Ужели уж так пал я, ужасался я даже и тогда иногда. Убийство воспевалось в то время в некоторых декадентских течениях, к которым я был причастен, и врывалось уже в жизнь все учащавшимися террористическими актами. Почему и не убийство. Убить девушку, упорно не уступавшую моим желаниям и уже заподозренную мною в чувствах к другим, девушку, которую любил, и это казалось красивым. Простите, братья, что это пишу, но пишу, чтобы показать всю глубину своего падения, и падения, близкого не мне одному. Бывали минуты, когда отсутствие смелости ко всему уже начинало казаться мне слабостью в полном смысле этого слова. А Ницше, страшно сказать, безумец Ницше был моим любимым философом. В действительности же, как я теперь понимаю мое тогдашнее состояние, строгий ангел-хранитель все же еще не вовсе покидал меня, как не покидал Он и никого из нас, хотя мы и не видим Его. Он и берег меня еще от окончательного падения. Бессилие победить Его и бессилие победить свои страсти — вот что было мое то безнадежно нерешительное состояние.

Но в 1905 году уж так больше продолжаться не могло. В этом году страх мой за себя, страх за то, чтоб не остаться мне мелким и холодным камешком пошлой обыденщины жизни, где и писанье стихов и какая-нибудь служба мне казались скучным и пустым переливанием из пустого в порожнее, и шли вразрез всем ницшеанским мечтам, чтобы быть сильными, смелыми победителями жизни. Страх этот как будто бы совпадал и с тем, что переживалось всеми в образованном обществе в это время. Раскаты грома войны достигали и Петербурга. Лучше уж гроза, лучше уж что-нибудь, чем это мертвое спокойствие пошлости. Может быть, и многие сердца сжимались в это время такой

жаждой грозы. Так, мысль броситься в революцию родилась у меня на улицах Петербурга 9 января 1905 года, когда, влекомый больше всего, конечно, любопытством, я бродил среди растерянных рабочих и видел кровь их, слышал возглас мести, даже и сам чуть не был убит у Полицейского моста на Невском.

Теперь чувства вины моей перед этим народом, чувства, которые никогда не умирали во мне совсем, а иногда даже и мучительно грызли сердце, как это было при моем увлечении музыкой, — стали казаться мне выходом из моего положения. Незадолго до этого, летом 1904 года в деревне, в усадьбе моего деда, я помогал ему в раздаче пособий женам запасных солдат, призванных на войну. Видел горе их и нужду и слезы. Целый день толкался среди них, записывая сведения о них и слушая их рассказы, и это дело, хотя и могло отвечать самым лучшим стремлениям во мне, более чем остальное, что я в это время делал, оставило во мне грустный осадок сознания бесполезности и ничтожности того, что образованные люди такими путями хотят сделать для народа, — и незаметно для меня вместе со всем тем, что и всеми переживалось и переоценивалось кругом в горьких испытаниях войны, послужило началом переворота во взглядах на значение правительства и отношение господствующих классов к низшим. Теперь же люди, которые отдают себя народу в борьбе с высшими классами и с правительством, все эти студенты, социалисты, революционеры и другие, которых презирал я до сих пор с высоты своей начитанности Кантом и другими философами и с которыми слепо боролся в Университете, когда выступал в нем против студенческого движения, они-то и стали казаться мне знающими тайну жизни и вместе с тем — теми сильными и смелыми людьми, которым принадлежит будущее в жизни. Не у них ли и я должен смиренно учиться жить. Эта мысль стала понемногу все чаще и чаще тревожить сознание, и уже с завистью начинал я смотреть на них. В том, что к этим первым, простым и чистым чувствам вины моей перед трудящимся людом сразу же примешались и мысли как бы о себе, мечты посредством отдачи себя этим чувствам разбить тоскливые стены своей скучной, буржуазной, как это тогда называлось, жизни, в этом я еще не вижу ничего худого. Потому что сама по себе тоска эта среди пошлости, она — порыв бессмертного духа к Бессмертному, недовольство его узкими и тесными рамками, в которые затерт он здесь. Но так как веры-то в дух и в Вечное у меня как раз и не было, — то и мог мой порыв превратиться только в новую игру, в попытку хоть чем-нибудь поразнообразить свое скучное и бессмысленное топтание на одном месте, и не больше… Такой бы игрой, конечно, и оказалось мое участие в революции, игрой

последними, еще оставшимися во мне нетронутыми, чистыми и свежими чувствами. Слишком уж испорчен был я своим неверием в Бога. «Человеком с зеркалом» был я, как я и назвал себя тогда однажды сам, в одном написанном мною рассказе[2], - человеком, которого всюду преследовало его зеркало. В нем он видит все, что делает, и всем, что делает, любуется, хотя делает пакость, но ради этого самолюбования, ради игры и предпринимает все, что делает, ибо ничего, кроме себя, и себя такого, каким хочет казаться другим людям, не знает и не знает выхода из своего ограниченного этими зеркалами замка…

Но выход был, и был бодрствовавший надо мной, был Вечно-бодрствующий над всеми нами, Знающий, в чем мы имеем нужду прежде нашего прошения к Нему и не хотящий смерти грешнику, даже и такому, как я… В это время я встретился с человеком, которому и суждено было вывести меня из тьмы на путь к Свету, к Нему.

Человек этот была сестра Маша[3].

2

Страшно говорить мне об этом сейчас, страшно писать. Боюсь хоть малейшим нечистым словом унизить Того, Чей Свет был с нею, и приписать хоть что-нибудь из Его Света себе или даже ей, смешав человеческое с Безначальным, и страшно дать повод другим перетолковать то, что хочу рассказать, в иную от Света сторону, затемнив в них виденье действительности…. Но с Божьим благословением приступлю к тому, на что решился…..

Я встретился с ней в первый раз на одной из общественных демонстраций по поводу Цусимы в Павловском вокзале. Она только что вернулась с войны, где была сестрой милосердия. И уж по одним рассказам о ней, которые слышал, должно мне было стать стыдно за себя перед ней, стыдно того, что в то время как я — старший ее по летам[4] — прожил эти годы самым пустым и бесплодным образом так, что и ужас войны и подымавшаяся волна народного горя и возмущения, как мне казалось, оставляли меня в стороне, как ненужного им и пустого безучастника их, — она, еще совсем юная, нежная и слабая телом, по рассказам о ней, была на самой войне, там несла какое-то нужное людям дело, помогала раненым, насилуя себя, превозмогая себя, — а когда пришлось ее увидеть, увидеть весь ее нежный, хрупкий облик, то это становилось особенно чувствительным и укоряющим тебя, — пережила весь ужас отступления армии, а теперь, вернувшись оттуда, сгорала таким огнем жажды жить, отдать себя всю людям, что ни минуты не сидела покойной, на все рвалась и всех других,

кто ее видел, умела заражать своей жизнью. Но было в ней и кроме этого еще то, что в первый же день моей встречи с нею определило в одной части всю дальнейшую мою жизнь. Была она одарена Богом такой наружной еще невиданной мною красотой плоти, что меня, как человека в то время плотского, должно было это особенно поразить. Был же я в то время, как я уже говорил, человеком, не верующим в Бога, а одна из черт неверия в Бога есть та, что на все он смотрит плотскими очами, т. е. не видит за плотью духа и тем самым будит в себе плотские, а при виде красоты женской и страстные, хотя бы и очень тонкие, движения, и вот думаю: — и нужно было мне, человеку смрадному, плотскому, чтобы Бог, возжелав спасти меня и зная мое рабство плоти, послал мне навстречу девушку той дивной неземной красоты плоти, чтобы уже в самой плоти, в красоте ее почувствовал я всемогущество Того, Кто за ней, и Ему бы через это поклонился. И вот рядом со всем жгучим стыдом перед тем духовным, что было в ней, с самого же первого дня встречи с ней стал я ощущать в себе еще новую для меня, неясную и сладостную и мучительную борьбу. Не смел плотскими глазами глядеть на нее, ненужной, лишней и нечистой чувствовал самую плоть свою перед ней и боялся каждого движения в ней, и каждый раз, когда ловил себя на том, что вижу ее, вижу всю ослепительную красоту ее лица, вижу мучительную складку губ ее, улыбку какой-то приветливой жалости ко всем и еще больше ее глубокие, темные, огромные и строгие глаза, каждый раз чувствовал себя таким нечистым перед ней, недостойным ее видеть и быть возле нее, что даже слезы навертывались у меня от этого сознания.

Но мог я встретиться с ней в первый раз и не в этом году, а много раньше, и тогда не случай, а нечто больше: мое нежелание или грех — не допустили этого. Тогда, года за три или четыре до этого, среди самого разгара сходок и моей борьбы со студенческим движением[5], когда я был весь и весьма честолюбиво увлечен им, ко мне подошел раз один товарищ по курсу и вдруг рассказал о своих двоюродных сестрах, и что-то такое тихое и таинственное, совсем не похожее на все то, что я делал до сих пор и что знал, какое-то глубокое страданье, какой-то сладостный покой вдруг почудились мне в его словах, что я ясно почувствовал: это-то и есть то, что мне нужно, это-то и есть то, что меня ждет, и что если я пойду туда, то там и останусь навеки, там и найду свой конец. Но я испугался. Студент звал меня к ним настойчиво, говоря, что встреча с девушками будет мне нужна, чтобы я только попробовал. Но я отказался, что-то проговорил в ответ, что теперь мне не время, кажется, так прямо

и сказал, что не хочу теперь отвлекаться от того, чем занят. Сознательно предпочел вечности игру, которая бурлила кругом и уже обольщала меня своими обманчивыми огнями. Помню и грустный взор студента, услышавшего от меня такой ответ. А после уж было мне поздно. Целых три года прошло с тех пор и самых ужасных, самых гадких во всей моей жизни…..Тогда я был еще сравнительно чист, не знал женщин, не печатался еще…..

Но теперь наши встречи не прекратились. Была какая-то стремительность в ней, в обращении ее с людьми, жажда скорее проникнуть в каждого другого человека, узнать его, подойти к нему — и уже вскоре после первой же встречи она сама пришла ко мне, занесла книгу, но не застала меня. Я жил тогда один в дешевых номерах. Потом и я также был у нее, хотя тоже не застал. Наконец случилось мне однажды провожать ее из дому, где мы встречались.

Мы вышли из дома втроем. Она шла посреди нас, и я, рядом с ней возле всего хрупкого и нежного, как цветок надломленный, существа ее, радуясь ощущению этой нежности возле себя и не смея коснуться и края пелеринки ее и робея, как и что сказать ей, чтобы не оказаться грубым перед ней, надумал попросить ее рассказать мне о войне. Сам не знаю, почему именно об этом спросил я ее, больше всего хотелось показать ей что-то и в себе глубокое или хотелось этим скрыть свою робость перед ней. Она удивленно, точно очнувшись, вскинула на меня своим глубоким, даже и в самые скорбные минуты не терявшим высшего покоя взором и немного растерялась. Но мне почудился укор и боль в этой ее растерянности и даже жалость, что я что-то прекрасное в ее мыслях обо мне нарушил.

— Что ж об этом рассказывать? Я не знаю. Да и нужно ли? — произнесла она нерешительно и быстро опустила взор, во что-то углубляясь в себе. Потом, ничего не сказав больше, простилась. Но точно огнем сожгла меня этим. Я даже испугался за то, что сделал. Ужели я такой. Ужели таким буду всегда, шептал я уже в ту ночь, отходя от нее. Вдруг стала понятной мне вся мерзость моя, вся мерзость игры моей такими вещами, как горе и страданье других, мерзость, которая сказалась в моем вопросе. Нет, хочу, могу и стану лучше, хоть ради нее да стану, хоть покажу ей, что я не совсем уж так плох, как она могла сейчас подумать. Затеплилась слабая решимость стать лучше, чище…. было беспокойно. С таких малых и детских ступеней начиналось мое пробуждение, но и это уже был Свет.

А она не оставляла. Образ ее стал томить. Хотелось медлить на нем; хранить его в сердце. И с ней если не лицом к лицу, то в разговорах о ней людей, среди которых вращался, я теперь

встречался уже постоянно. Она волновала и всех, как меня. Главное же в этом было, пожалуй, не слова ее и не поступки и не весь даже облик ее нежный и страстный в любви ко всем, а какое-то присущее ей, таинственное, не высказываемое словом, сосредоточенное в себе страдание или алкание, которое больше всего и отличало ее от всех. Но оно-то и свидетельствует нам об истинной сущности человека внутри его и если есть в одном человеке, то будит ее же и в других. Эта-то углубленность человека в себя или поглощенность его чем-то внутренним в себе, которые и делают его не видящим окружающее и не видящим себя в окружающих, в тех зеркалах, которые преследовали всюду меня, та чистота человека и целомудрие духа, перед которым невольно удерживает свое дыхание нечистый. И страх суеверный, страх человека темного у недоступного ему и неизвестного испытывал я, когда ее видел; чувствовал каждое слово свое перед ней нечистым, но все-таки неудержимо влекся к ней болезненной сладостью ощущения ее боли за всех и ее красоты…. И мог я уже догадываться по рассказам о ней, да и так прямо, просто видя ее, что то, что делало ее такой, были какие-то неведомые нам страдания ее еще в прежней ее жизни до встречи с нами….. и еще молитва….. О молитве и она говорила постоянно….. И так привычно было это слово вокруг ее имени и так шло ко всему ее облику, что скоро перестали мы и задумываться над ним. Сестра Маша молится, сестра Маша ходит на кладбище, ходит пешком, слышал я и представлял ее себе на улицах, как раз встретил ее идущей на кладбище со своей младшей сестрой….. Но как молится и что это значит, никто из нас не знал. И все-таки говорю, это и было несомненно то самое главное, что ощущалось всеми с самого же первого раза ее близости. Велик же и силен Всемогущий, и Свет Его был с ней.

По-наружному еще ничего не переменилось в моей жизни. Решимость стать лучше, которая понемногу и сама собою возникла во мне к этому времени, а теперь окрылилась встречей с ней, пока проявлялась только в попытках более строго отнестись к своему писательству. Оставил писать стихи о разных мигах, плясках и тому подобном, которых стал так стыдиться при ее имени, что готов был даже вырвать их из только что напечатанного моего сборника стихов. Стал задумывать «настоящий» роман из общественной жизни. Торопился показать ей что-нибудь лучшее в себе, чем только то, что она до сих пор могла видеть во мне. И это уж было не только самолюбие, но и желание этим оказать любовь ей, ибо чувствовалось, как жаждет ее любовь к людям видеть в других лучшее, и хотелось ее радовать. И не я один, а и все, кто только видел ее, точно

спешили показать ей в себе что-нибудь хорошее, чтобы этим порадовать ее….. И все-таки, страшно сказать, как далек был я тогда от истинной жизни, что действительно ничего лучшего, чем только желание написать «общественный» роман, и не мог найти в себе для нее.

Потом некоторое время не встречался с ней. Начинал даже думать, что она в двух-трех встречах с ней так и должна остаться для меня мимолетным виденьем[6] и что больше я искать их не должен. Мирился с этим, потому что весь еще продолжал жить в той мерзости, из которой вырваться ни сил, ни надежд не имел. Как это все уживалось во мне, сам не знаю теперь, но так это еще было. Жил около девушки, к которой привязал себя своим постыдными и нелепыми мечтами, и хотя не смешивал их с тем новым, что блеснуло мне во встрече с сестрой Машей, но и бросить их не мог. Два образа поселились в моей душе, и было то так, точно две комнаты раскрылись в моей душе раздельных и противоположных друг другу; когда страшно становилось в одной — кидался в другую, но и в другой долго медлить не мог, там страшно было Света, какой сиял в ней.

В конце июля встречи с сестрой Машей опять возобновились, и было что-то роковое в них, чего не искал, но и чему противиться не мог. Однажды собрались мы раздавать деньги, собранные в одной редакции на бастующих и голодающих рабочих. Должна была пойти и она с нами, но не пошла. И опять кольнула меня этим точно в самое больное место. Понял я, что не пошла она, потому что это только игра, почти что пустая наша забава….. а не есть то, что могло бы ее удовлетворить….. Она и сама так же объясняла это нам потом.

В августе то самое мерзкое в моей жизни, о чем говорил, вдруг оборвалось….. Случилось это тоже без всякого моего желания, само собой. Поистине могу объяснить я это благой и вечно промышляющей о нас волей Божьей….. но и говорить об этом много не стоит. Просто пришли другие люди и отрубили то, что и нужно было отрубить; мой больной и загноившийся член. Еще было больно это, еще было страшно расстаться с ним, потому что и к боли своей привыкает человек и боится потерять ее….. Но все же была и робкая радость первого освобождения….. А пока что, боясь потерять ее, я поспешил уехать из Петербурга, думал отвлечься от старого и, может быть, основательнее подумать о том, что лучше. Но здесь уже и сам ухватился за то, что увидел в сестре Маше, как утопающий хватается за последнюю соломинку, ибо ничего лучшего, кроме нее, у меня не было. Но она была уже тут как тут. Следила за мной своим внимательным, глубоким взором. Радовалась, когда узнала, что я уезжаю, давала книги,

чтобы я их «для нее» прочел, без слов, незримо, но ясно, всем существом своим ободряла и благословляла мое освобождение, которое, конечно, уж видела, как видела и в каждом малейшую перемену к лучшему, улыбалась мне, когда встречалась со мною глазами, но по-новому, радостно, свободно. Устанавливалась невидимая связь понимания друг друга — и я, не зная еще, кому и как обязан этим, но уже окрылялся ею — и становился смелее и свободнее с нею.

Завязалась небольшая переписка.

— Сегодня познакомилась с одной старушкой, — писала она, — у ней два сына студента покончили с собой. Такие у них лица, простые, славные, зовущие за собой. — Небо у нас сегодня строгое, чистое, ясное…..

Взглянула на него и стыдно стало за себя, за свою нечистоту…..

— Хочется вам жизни нужной, как мне смерти нужной[7].

Последние слова, когда прочел их, особенно вдарились в сердце. Что значит нужная жизнь и нужная смерть. И страшно стало, что не знаю этого. Еще показалось, что слова ее не простые, а как бы особенное повеление ее мне, надежда ее на меня, и жутко было того, что то, что у ней есть и не останется пустыми словами, это я знал и верил в это, у меня вдруг может оказаться только ими. Захотелось затаить их глубоко про себя в сердце, хранить их и никому не показывать пока до времени, и беспокойно еще было слышать от нее о смерти….. что это значит. Уже ли.

В конце сентября я вернулся в Петербург. Теперь уж мы были друзьями. Моя первая робость перед ней прошла. И хотя ничего не выделяло меня из окружавших ее людей и ничем не выделила она меня из них, но не терпела она, чтобы кто-нибудь считал себя ниже ее и ни перед кем не оставалась в долгу. Что рассказывал я ей о себе, то спешила и она рассказать о себе, и как я никому никогда еще не раскрывал так полно себя, как теперь ей, так и мне никто никогда еще не рассказывал так просто все о себе, как теперь она….. Даже когда и о смраде своем гнойном я — нечистый и мерзкий — решился тревожить ее слух, сам чувствуя, что обливаю ее этим, как помоями, даже и тогда — хотя и не дослушивая меня и нетерпеливо перебивая меня, — как должно было ей быть гадко это слушать — даже и тогда нашла она в себе какую-то тень, подобие того, о чем я говорил, чтобы рассказать это мне о себе и показать этим, что ничего особенного в этом, в сущности, и нет, что она знает это, как все люди, и что она не лучше меня и всех, а смертная, как и все смертные, плотяные…..

Раз в вагоне в поезде с ранеными ходила она на цыпочках всю

ночь около одного доктора и не спала, боясь разбудить его, уставшего от тяжелого дня, но взглядывая на него, чувствовала такую непреодолимую жалость к нему и жажду его одного убаюкать, приласкать и поцеловать, что сама вдруг смутилась тем, что заметила в себе, — испугалась тому, чем и раньше уже другие дразнили ее по ее рассказам из-за него. Но я вышла на площадку, там долго стояла на ветру, думала….. а потом вошла в вагон и все сразу вырвала в себе, взглянула на него и больше не было ничего, — кончила она свой коротенький и стыдливый рассказ, потом еще прибавила: решила, что этого не должно быть во мне. Вот и все. И еще продолжала быстро и отрывисто, как бы объясняя что-то недоговоренное о себе, чтобы окончательно все выяснить мне, чтобы не оставалось у меня больше уже никаких сомнений об этом. — Я дала такой вроде обет….. давно, уж в институте знала это. Другим это еще, может быть, нужно. А мне нет, должна прожить так….. И замолчала. И был я как в огне от слов, что «ничего в этом, в сущности, особенного нет». А я-то еще гордился этим, осмеливался рассказывать ей об этом так, точно она этого не знает, как о чем-то важном, пережитом мною, что не всеми переживается….. Играл своею мерзостью. Так спасла она меня, отдавая всю себя мне, все существо свое, всю душу, но так спасала она и всех, ибо, чтобы спасти кого-нибудь, надо отдать не часть себя, а всю. Нашел я после в ее записках ее слова.

А кругом кипело то, что казалось нам всем жизнью. Агитация, сходки, великая забастовка, 17-е октября. Я примкнул к С. Д. Она была в рядах С. Р. Но разве это было важно. Не учения, а люди и их подвиг был нужен ей. Все, что есть высокого, чистого в них. Это захватывало, умиляло. Об этом не умолкала; могла плакать и о собачке Орлике. И я был всюду возле нее. Слышал ее порывистую страстную речь, видел сияющий взор, чувствовал все преисполненное жизнью, захлебывавшееся всеми сердце ее….. Мог учиться у нее….. Только в ноябре немного очнулся.

Но и в самые бурные дни умела она не терять себя и находить то другое в себе, что отличало ее ото всех.

Однажды заговорила о себе — и тихо стало кругом. Что окружало нас, точно исчезло. Нас было двое. Она стояла передо мною в одном конце ее большой комнаты на Васильевском, где она жила; я, как окованный, сидел в низком, мягком кресле около ее письменного стола, на котором каждая вещь мне казалась таинственной и значительной от ее прикосновений к ней, и вот то глубокое страдание, тот сладостный покой, которые почудились мне однажды в первой вести о ней, в словах того ровного и мягкого студента, рассказавшего мне впервые о ней в коридорах университета, вдруг подступили опять, но теперь уже так близко,

точно наяву, как сама действительность, — она заговорила о своей смерти. И так твердо, уверенно, упоенно, просто заговорила о ней, точно это было живое лицо, с которым она обручилась, которого только и ждет, который только и есть ее единственный истинный возлюбленный и жених. Говорила про себя, что скоро умрет, что она это знает и что только этого и жаждет, и было это так, точно ангел невидимый, ее Друг и Жених сам коснулся ее крылом Своим, чтобы показать мне, кого она избранница и как нечисты еще и мерзки все наши смертные мысли и чувства к ней. И опять нечистым и низринутым и отторгнутым от нее вдруг увидел себя в этот миг, потому что почувствовал в себе какую-то даже вовсе низкую боль ревности при мысли, что она избрала кого-то, и сам ужаснулся этому в себе. Но она заговорила и о тех, кого любит на земле, и о том, как жаль ей их оставить, причинив своею смертью им боль. Потом подошла к столу и тут же возле меня нагнувшись, точно и меня желая овеять прощальной любовью и лаской, показала мне бумажку, которую держала в руках, и, не выпуская из рук, дала прочесть, что было на ней, но стыдливо и робко, как девочка, — точно боясь еще, что я не пойму то, что прочту….. Это было письмо ее давнишнее к одному покойному ее другу, которого и я немного знал. Там ровным и четким, строгим и мягким почерком было подписано ее имя с детски ясной и чистой прибавкой «и любящая Вас Мария Д.» В письме говорилось о Боге, о Христе, о молитве и опять о смерти…. И понял я, что вижу то, чего не должен видеть, не смею.

Но к ноябрю месяцу еще невозможно было оставаться в Петербурге, слишком много пыла было в душе, пыла от нее, пыла от новой жизни, от всего, во что ввела она меня и что бурлило вокруг. И пыл не находил себе приложения в городе. Хотелось отдать себя делу, настоящему делу и подвигу. Боязнь была во мне, что если этого не сделаю сейчас, то и никогда этого не сделаю, и будет потеряно то, что так без меры много получил теперь от нее. К этому присоединялся и чистый взгляд на нее — казалось, что для того только и встретился с нею, чтобы возродиться. Но надо было скорее испытать это, доказать, что это так, жизнью, делом доказать это. Не смел любить ее одну. Сама любовь к ней требовала еще нового, еще большего от меня. Она — только ангел, посланный Кем-то Незнаемым на пути. Но теперь надо забыть и ее. Самому, самостоятельно так жить, как живет она для других и как жить учит всех, без слов, но учит…..

Уже и встречи с ней становились мучительны. Еще писал я роман, но чувствовал, что это не то, к чему она зовет… Однажды заговорил с ней о другом человеке и сказал ей о нем что-то неясное, нехорошо, даже не то вовсе, что сам о нем думал, и она

вдруг резко оборвала:

— Но он всегда во всем доходил до конца. А вы-то еще ни в чем не дошли…..

Сказала это твердо, без снисхождения и ничем не пожелала смягчить себя.

Мне стало больно, колко.

— Но разве это неправда. Опять в самую больную, нудную рану попали ее слова.

Другой раз она зашла ко мне. Я был в мрачных мыслях. Захотелось открыть ей себя, рассказать о своей самой сокровенной муке, чтобы она поняла меня и пожалела. Прочел ей чудовищный и страшный рассказ свой о человеке с зеркалом, о человеке, которого всюду преследует его зеркало и который все, что ни делает, делает для того, чтобы полюбоваться собой в своем зеркале, ни уйти от него, ни разбить его он не имеет средств, таким представлялся я сам себе. Как подавленная сидела она молча передо мной, закрыв лицо руками. Я испугался, что причинил ей слишком много боли собой, своей гадостью.

— Простите меня….. Это я такой, Вам бы лучше вовсе забыть меня.

Но она встала.

— Нет, не вы….. а я такая. Я нахожу, тут вся правда про меня написана.

Сказала решительно, просто, не допуская никаких возражений и с неистощимой мукой, точно подавляя что в груди, поторопилась уйти, только в дверях не забыла бросить на меня свой ласковый прощающий все взор.

Боже мой! Боже мой! Что же это я! — растерялся я, когда она вышла. Хотелось кинуться ей вслед. Ей крикнуть, сказать, что если и она такая, если мы оба такие, то мы можем, должны стать другими и станем другими. Сказать ей, чтобы не отчаивалась вовсе….. я первый покажу ей, что могу быть другим, покажу ей пример.

Еще раз я был у них. Она жила с братом и сестрой недалеко от меня. Раньше бывал у ней каждый день, теперь реже. У них были гости. Она бродила между всеми и всем улыбалась своей мучительной улыбкой, иногда взглядывала и на меня наблюдательно, всепрощающе. Все — не то. Точно слышал я, как стучит ее сердце и говорил ее взор.

От меня так тяжело ей. Сверлила мысль. Хотел уйти. В передней столкнулись.

— Всем должно быть от меня тяжело, — заговорила она вдруг беспокойно. — Я чувствую, что всем от меня тяжело. Я такая, я нечистая, недостойная всего….. Простите меня.

Но я уж больше так не мог. Через несколько дней я пришел к ней и сказал, что еду в Курскую губернию. Все уже готово у меня. И связи есть, и дело. Что оставаться в Петербурге я считаю для себя бессмысленным. В деревне, на местах среди народа, чувствую, могу принести хоть какую-нибудь пользу людям. Там каждый образованный может быть нужен. Из Курской губернии приходили вести о сильном крестьянском движении, я еду в самый разгар его. Запасся уже корреспондентскими билетами от двух столичных газет, отчасти для видимости, но и для того, что работу в газетах тоже думаю не оставлять. Не важны программы, партии, а нужен человек. Связи я имею с крестьянским союзом[8]. Его и буду держаться.

Как молния заставило ее что-то содрогнуться в моих словах. Она встала, прошлась взволнованно по комнате, потом села в угол, закрыв лицо руками, точно как-то особенно сосредоточенно побыла в себе, и опять, быстро оправившись, улыбнулась мне и свободная, ободряющая меня, не могла уж оставаться в комнате, а предложила мне с нею выйти на улицу, пройтись с нею куда-нибудь далеко, далеко, как мы и раньше ходили с нею, когда все открывали про себя друг другу. Пошли к священнику Григорию Петрову, жившему на Петербургской стороне и которого она давно уже и близко знала. На улице опять повторил ей про себя, что уже сказал, — и она прерывисто, быстро, как всегда, стала рассказывать о себе. Оказалось, что и у нее такие же мысли, как и у меня. И она вот-вот должна получить место в Тульской губернии — сельской учительницы и заведующей продовольственным пунктом и столовой для голодающих. Там был голод в этом году. Она только скрывала это от меня, как и я свое от нее. Все мысли были одни. Не успевали сказать все друг другу. Перебивали; без слов понимали. Все опять ликовало и пело кругом.

Противиться нашему пылу было невозможно, хотя и не у меня одного сжималось сердце о ней, куда она, такая нежная, хрупкая, как стебелек цветка, поедет одна в деревню в эту пору. Но она ведь уже ездила на войну. С ней ее Бог. Так можно ли нам ее удерживать. Как решено было, так и сделано. Только вырваться ей от родных, из Петербурга было труднее, чем мне, и она уехала месяцем позже меня. На прощанье подарила мне две радости — взяла от меня на всякий случай лишние мои деньги для себя и для других, кому могут они понадобиться, и вручила мне на память записную книжку с заветною надписью. Долго в тот вечер волновалась раньше, чем написать ее, уходила, оставалась одна, потом быстро внесла ее в книжку и отдала мне.

3

В Курской губернии меня скоро арестовали, да и был я, конечно, во всем неопытен и на то дело, за которое брался, едва ли годен. Сам не зная хорошенько, зачем, как — это часто, наверное, не знают и многие молодые люди, как я в то время, да и во все другие времена на земле, но с решимостью ни перед чем не останавливаться, хотя бы это была и смерть, с жутким чувством погружался в неизвестные мне деревни и села, засыпанные снегом, собирал сходы, говорил речи, потом прятался по неведомым мне мельницам и хуторкам от преследовавшего меня отряда стражников. На сходках толковали о Государственной Думе, о земле, сражался иногда со священниками и помещиками и призывал крестьян подавать голоса в Думу не за них, увещевал их в то же время и от погромов. При аресте не обошлось, конечно, и без всего воинственного, свойственного таким минутам. Исправнику на допросе заявил, что не стану отвечать врагу народа, так и написал на предложенном мне листе. В тюрьме, в одиночке, то же самое. Кругом «враги народа», которым нужно показать, как истинный революционер не сдается им, не уступает ни в чем, протесты, требования, возмущения. Завязывается каким-то образом переписка с волей, кто-то предлагает мне свою помощь, если вздумаю бежать. Я хватаюсь за эту мысль. Зреют дикие, фантастические планы. Но по неосторожности своей я был обыскан, попалось и мое тайно заготовленное письмо на волю, и все рухнуло, тем дело и кончилось. Наконец мало-помалу стал оглядываться на себя, успокаиваться. В тюрьме же оказалось совсем уж не так плохо, как могло это мне казаться раньше. Здесь я получил по крайней мере впервые свободу побыть одному и разобраться во всем, что было пережито и видено мною. Теперь все мысли вернулись прежде всего к сестре Маше и сосредоточились на ней. Она была всюду со мной — и в полях, и в деревнях, и на сходках, она ободряла и наставляла, и, сомневаясь во всем, в одном я не мог сомневаться, что та любовь ко всем, которую видел в ней, которой пылала и которой готова была все свое принести в жертву, — прекрасна, нужна и свята, что она есть единственное нужное, святое и главное на земле, что я знаю. За нее держаться — вот и вся моя решимость и вера в это время. И ее же слова, записанные ею в книжку, подаренную мне ею, когда расставались, оказались самыми важными и нужными для меня. «Думайте о сейчаснем. Завтрашний день сам о себе позаботится. Довольно со дня его заботы», — говорили они мне каждый день, и действительно только так и можно было

поддерживать себя в равновесии здесь. Потом сестра Маша стала отступать понемногу на второй план. Переписка в тюрьме была затруднена, а когда она вскоре уехала из Петербурга в Тулу, — и вовсе прекратилась между нами. Но оторванный от нее, я стал с радостью замечать, что я — не раб ее, что я свободен, — а ведь про это-то и боялся одно время, что этого не будет. Увидел, что есть и другие люди кроме нее и что я и без нее могу чувствовать в себе тот же светлый подъем силы, который чувствовал в ней. При этом и забвения ее не было, а легко и радостно было именно то: знать, что и она где-то далеко от меня, такая же свободная, как и я, служит одному и тому же делу любви, делу света, любви в людях, которому решила служить, которому она всегда служила и которому никогда не изменит. Не хотелось даже и новых встреч с нею. Старательно, волей отгонялась мысль о них, так горячо хотелось остаться чистым к ней навеки. А это-то и есть уже чистая любовь, сознание полного единения людей друг с другом, без встреч, без искания их, без необходимости в них. Достаточно было и того, что я ее раз видел. И этого-то ведь я был недостоин, конечно, и эта чистота подвергалась некоторым искушениям, без которых ни один человек не живет, но все же они легко побеждались….. Зато и совсем новая жизнь приблизилась тут. Люди, которых я увидел кроме нее, были, во-первых, мои родные по плоти. Последние годы я жил отдельно от них, вовсе далекий и чуждый им, но теперь мои обстоятельства, мой арест и мои поступки естественно вызвали в них внимание ко мне и участие, которого я раньше не видел. Уже незадолго до моего отъезда из Петербуга ко мне пришел раз мой брат, встревоженный моими намерениями, и вдруг разрыдался, уговаривая меня оставить их. Теперь же их теплые письма и приезд ко мне в острог того же брата, участие к ним сестры Маши, написавшей мне о них и о том, как она сама первая уведомила их о моем аресте, — побудили настоящие, горячие, давно уснувшие чувства детской жалости ко всем, примирения со всеми, благодарения и укорения себя и слезы — и начинало сердце понемногу раскрываться в одиночестве доверием к людям, создавалась в нем размягченная почва для новых и лучших семян в будущем.

Потом и те люди, которые окружали меня тут на первых порах, мои тюремщики, оказались уж вовсе не такими страшными врагами, какими представлял я их себе раньше. Наоборот, в них-то и увидел я прежде всего и действительно увидел здесь всю страшную, постыдную жизнь земли, жизнь ради ничтожного куска хлеба — без искры радости, Света — и страшно мне было глядеть в их потускневшие, запуганные глаза, всем недовольные и явно сочувствовавшие моим вольным речам и коловшие меня укором в

том, что даже и в тюрьме я во много раз счастливее их, потому что в ней только гость случайный…… в одну из таких светлых минут прилива чистых чувств к ним сложилось у меня даже стихотворение, которое и доселе кажется мне чистым, и потому помещаю его здесь.

О, Мой брат, мой запуганный брат.
Подойди и не бойся меня,
В моем сердце лучи золотые горят,
Никого не виня, не кляня.
Я — как ты, кто родил меня, звал.
Кто ласкал меня осенью поздней.
Кто учил, наставлял
И берег от лихих и их козней.
Я как ты, о мой брат,
Мой запуганный брат…..

Потом тюрьма оказалась переполненной «забастовщиками», т. е. крестьянами, участвовавшими в погромах. Тот самый народ, которому хотели мы служить, окружал меня тут, и я мог его видеть лицом к лицу, наблюдать и определить свои отношения к нему — более или менее свободно в первый раз в жизни. Это и было, пожалуй, самым значительным, что пережил я за этот раз в тюрьме, и самым главным в этом было не то, что я стал здесь действительно узнавать жизнь народа и слышать о ней из его собственных уст, а то, что, попав в равные с ним условия, оказавшись запертым с ним в четырех стенах и зависящим так же, как и он, от таинственных и враждебных для нас распоряжений начальства, в руках которого оказалась наша судьба, мог я в первый раз в жизни погружаться в заботы и мысли других людей, людей рядом с тобой и в них терять себя и забывать свое. И какое это было радостное, восторженное время, время первого моего воскресенья. Началось с того, что уже одно мое появление в остроге вызвало с их стороны самое напряженное внимание, — я был ведь первый политический здесь, — а мое свободное и безбоязненное обращение с начальством на тюремном дворе приобрело сразу же горячее сочувствие всех обитателей острога. Как-то раз, увидев и возмутившись тем, что их заставляют по полчаса и больше стоять без шапок на морозе на дворе, пока прогуливается на нем начальник тюрьмы, я после команды надзирателя — шапки долой, — громко крикнул в фортку своего окна, при наступившей внезапно тишине: шапки надень! Произошло всеобщее замешательство, послышался смех, кое-кто надел шапки, а начальник тюрьмы, смутившись, ушел в кантору и

потребовал меня туда, но, к моему удивлению, оказался вполне мягким человеком и, вняв моим объяснениям, не только ничего не предпринял против меня, но даже и упразднил эту команду вскоре же после этого случая, а я с того же дня стал получать от заключенных письма — тайные, писанные карандашом на курительной бумаге, сначала с выражениями сочувствия мне, потом с просьбами, вопросами и рассказами о себе, сначала из одной камеры забастовщиков, потом и из других. Времени отвечать на них было много. Бумага для ответов и указания, как передавать их незаметно от надзирателей, — присылались предупредительно тут же. Так завязалась, а потом и разрослась целая огромная переписка, и чем дальше, тем все более и более глубокая и завлекательная для меня. О чем, о чем только не писалось тут ими и мной. Вечера были зимние, острожные, было о чем написать. Вся душа народа, простая и темная, испуганная и доверчивая, казалось мне, была тут. Спрашивали сначала: да можно ли им на что надеяться, да куда их угонят, да вот слух прошел, что соберется Дума и даст всем земли, а их тогда выпустят. Просили, чтобы написал я им просьбу прокурору или жалобу на кровопивцу-следователя. Потом рассказывали мне на мои просьбы все прямо и просто о себе, о своем хозяйстве, о своих делишках, о податях, о господах, о том, как погром был. Прошел слух, берите, мол, на Михайлов день все барское, ничего за это никому не будет. Все и пошли. Пьяные были все. Знамо, народ глупый, как стадо баранов. Никто ничего не помнит, кто сколько тащил, а кто дальше канавы и не унес, а тут и свалился, до утра лежал. Кто же половчее и потрезвее, тот уж в тот же вечер все натасканное продал и теперь чист, улик нет, а другие вот тут сидят. Один на другого теперь показывает, сам же брат наш сюда засаживает. И вставали передо мной по этим письмам разительные и страшные в своей правдивости картины всей темной растерянности их и беспомощности, невольно засевались и семена в душу сомнения во все то, чего наслышался в Петербурге и что вез оттуда в деревню, нахватавшись первых попавшихся громких и красивых фраз по готовым книжкам. Еще спрашивали о том: откуда и как господа на земле появились. Этот вопрос особенно всех волновал, просили, чтобы объяснил я им его подробно и вразумительно, и есть ли это в тех книжках, которым я — образованный — учился. И чем дальше, тем больше спрашивали: правда ли, что земля круглая и вокруг солнца ходит, и что такое луна и звезды. И правда ли это, что говорят, как помер человек, вышел из него дух и нет от него ничего, как от травы, — одна прель. И чем дальше, тем все страшней и страшней было мне писать ответы на их вопросы, терялся уж сам, не зная,

что писать, чувствовалось, как каждое мое слово падает глубоко в их души, и страшно поэтому становилось ответственности за них. Не смел уже писать легкомысленно, старался уже сам в каждом вопросе дать ответ себе и разобраться — что знаю и чего не знаю. И иногда казалось, что еще сам ничего не знаю. И вот, не знаю сам, как это случилось, но во всем, что ни говорил и ни писал я им, стал ссылаться я на Евангелие, ибо Оно одно давало покой духу и веру, что, если буду держаться Его, или того, что понятно мне в Нем, то не нарушу тех строгих и жутких для меня требований к себе, которые стал чувствовать, когда ощутил живую связь свою с другими людьми — связь любви и веры друг в друга, какая заключалась здесь между нами. А так и сам стал понемногу входить в прямой и простой Смысл вечных Истин Христа, сиал запоминать их и даже против своей воли кое-что новое понимать в них и любить….. Особенно помню в это время стал как-то неожиданно открываться мне даже и таинственный смысл заветов Христа за Тайной вечерей. Странно это, но это было действительно так, хотя и был я тогда вовсе неверующий в Бога. Но так чудны и непостижимы дела Господни, что даже и неверующих, раньше, чем они достигли Его, достигает Он их. И сестра Маша была в этом опять со мной. Ведь и она не забывала никогда говорить о Христе. Христом благословляла меня, отпуская в народ, даже в письмах часто подписывалась — чудно и сладко для меня, как мать: Христос с вами.

К концу зимы тюрьма переполнилась, и за недостатком места стали и в одиночки сажать по двое и даже более заключенных. Одного, огромного ростом, светлого, чистого и немолодого уже крестьянина посадили и со мной. Целый месяц с ним вдвоем с глазу на глаз, с утра до вечера. Сколько разговоров, сколько бесед с ним. Он — брат мой. Какое это чудное, сладостное и гордое чувство, впервые открывшееся мне здесь, в этой камере острога, за всю мою жизнь. Это был настоящий медовый месяц любви моей. Не знаю, как иначе назвать это. Потом весна. Народу все прибывало и прибывало, невозможно уже было держать нас по двое, стали сажать нас в кучки и выпускать чуть ли не на целый день на двор, за недостатком воздуха в камерах….. Уже не нужно было тайных бумажек, виделись и говорили теперь все друг другу лицом к лицу. Наконец, в начале мая, когда собралась первая Дума, меня выпустили, а вскоре после меня выпустили и всех других, — кого на поруки, кого под залог. Я с новыми мыслями и надеждами полетел бодрый и радостный в Петербург. Но еще одно странное и таинственно сладостное чувство уносил я из Оскольского острога — и не мог понять откуда оно и что оно значит, но точно было какое-то предчувствие….. Когда томился

еще в остроге и бродил по двору, вдыхая воздух весны, и вглядывался в дрожащую даль весенних полей из решетчатых окон камеры, вдруг такая неудержимая жалость ко всем далеким и близким людям и к себе иногда охватывала сердце и сжимала грудь, что невольно навертывались слезы на глаза, все на миг исчезало кругом, как в тумане, и вот неведомо как слагался на устах неожиданный новый стих, которому я и не мог тогда придумать никакого объяснения и продолжения, но который часто шептал про себя и любил….

Еще я послушник. Из мира
Мне скоро, скоро уходить.
Уже не радует порфира
Весенних снов…..Хочу любить…..

Да, любить и любить всех как-то, неведомо мне еще как, полюбить всех. И еще роднее, еще ближе становились от этого все тихие, простые лица крестьян кругом, побледневшие и похудевшие в остроге и далекие милые друзья и братья и сестры, которые ждут меня в Петербурге и любят, теперь уж я знаю, что любят меня, и сестра Маша больше всех. Так приближалась незаметно настоящая жизнь.

4

А в Петербурге первой, о ком услышал, была опять сестра Маша, и в то же утро я уже шел с нею рядом по светлым, весенним улицам Петербурга. Она тоже только что вернулась из деревни и была, как и я, преисполнена всем, что видела, слышала там, и весной, которая окружала нас здесь. О смерти своей уже не заикалась в эту встречу со мной. Но какими же словами рассказать мне теперь о ней и о том, как виделись. Не чувствовал ног под собой и земли, когда шел с ней возле, каждым дыханием своим готов был предупредить малейшую мысль ее и малейшее движение и в то же время был свободен, заслужил радость быть с ней и видеть ее, и это знала и чувствовала она, и я видел, что это она знает и видит во мне. Как встретился, так готов был и каждую минуту расстаться с ней, ничего не искал себе от нее, — не себе уж служили мы, а Кому-то Другому, хотя и не знал я Его….. Был, как и она, уже думал я, и был такой гордый, счастливый.

Но очнуться и оглянуться на себя было уже некогда. Кругом опять сходки, митинги, газеты, первая дума, крестьянский союз, трудовая группа….. Попал даже на один тайный революционный

съезд в Гельсингфорсе[9]. Мысль была одна: работать как серый рядовой работник в рядах партии за народ. Тлело под этим беспокойное, тайное сомнение, вынесенное из острога, что тут что-то еще не совсем то, что было нужно, иногда даже казалось, что я даже что-то больше знаю, чем другие и чем вожди, но эта мысль казалась гордой, тщеславной, а главное было страшно сомневаться, боялся копаться в себе, чтобы не лишиться того счастья, которое уже было со мной, которого уже достиг. А оно было в сестре Маше, было в том, что я был с ней и считал себя заслуживавшим это. Не сознавался себе в этом, но это было все-таки так. Так страшно враг подменивал и тут истину, которой мы оба искали, ложью, и претворялся перед нами в Ангела светла — в ту мою, казавшуюся и мне и сестре Маше чистой, — любовь к ней, но любовь, в которую вкралась уже гордыня. А время летело, и не было дня, чтобы мы не виделись. Деньги стали общими. В мгновенных встречах на улицах, среди всех дел, среди суеты, успевали мы, как мне казалось, все сказать друг другу, ободрить и проверить себя. Иногда целые ночи напролет бродили взад и вперед по улицам и все говорили друг с другом. Раз, помню, я рассказывал ей что-то о себе, о Старом Осколе, и вдруг увидел у ней на глазах слезы, она сияла радостью, смущенно, скромно, с любовью ко мне.

— Марья Михайловна, что с вами, — удивился я.

— Ничего, это так. — Устыдилась она и потом призналась: А все-таки радостно, что есть, есть хорошие люди на земле, и много хороших.

Но Боже мой! Как хотел бы я уничтожиться и сгинуть в этот миг, так недостойным и ничтожным почувствовал я себя перед тем, что услышал от нее.

— Разве уж что-нибудь есть во мне хорошее, а она находит это во мне…..

И все-таки в глубине души верил, что это так, что уже достиг.

Другой раз восторженно, захлебываясь и просто, как всегда, говорила она своей подруге, друзьям и мне:

— А я верю….. А я верю, что Орлик и Ледька (собачки) и все животные, даже деревья и трава и мы все, даже все будем вместе… Почему же животные должны тут страдать и никакой потом радости так и не увидеть. Нет и нет, а по-моему нет. Ведь и они же тут страдают, даже еще больше людей. По-моему, я верю, мы все должны увидеться.

Нечего не понимал я рассудком, что она говорила, но всем сердцем, всем нутром своего существа вдруг представлял себе ясно, что это так, что это должно быть так, что это иначе и не может быть, и навеки запомнил, что слышал…..

В июне мы уж не могли больше оставаться в Петербурге и прямо говорили об этом друг другу. Согласились ехать опять туда же, где были, я — в Курскую, а она — в Тульскую губернию. Только выехали теперь из Петербурга вместе. Теперь уж не могло быть это иначе. Готовились к чему-то решительному, грозному. Это знали. Хоть и бодры были, но знали. На пути, на который стали, должны были идти до конца….. Но хоть последние дни перед разлукой побыть в Москве немного вместе вдвоем за делами, это могли мы друг другу позволить. Об этом думали. Кроме того, выезд ее со мной придавал немного опоры ей в глазах друзей и сестры, которые за нее беспокоились, на мою рассудительность полагались. Наставали последние дни и дни расплаты моей за мои грехи.

Весело и радостно это было в начале. Нас провожали друзья и ее подруги. Ей дарили цветы и конфеты. Но я ничего не видел. Сидел в вагоне у вещей, пока поезд еще не тронулся, но не видел даже и ее, когда она вошла. Все существо ее, незримое, наполняло вагон, наполняло все, и это была любовь. Не смел глядеть на нее и только, может быть, раз или два взглянул на нее и видел ее всю сияющую в ореоле жизни и свободы и до сих пор ее помню такой перед собой с неудержимой улыбкой всепонимающей любви и ласки ко мне. Не смел дохнуть, не смел иметь своих мыслей при ней….. Уступать, отдавать, не знать себя, исчезать в другом — какое блаженство.

Когда поезд тронулся, она долго стояла у раскрытого окна и что-то пела восторженно навстречу ветру. Потом села. В вагоне было тесно. Завелись разговоры. С нами рядом ехали жандармы, она точно не видела их. Завязался спор с пассажирами. Она, увлеченная, стремительная, как всегда, быстро овладела слушающими. А в передышках украдкой взглядывала на меня и сама улыбалась мне своей страстности. Потом раскрыла вдруг свой сундучок у ног, полный брошюр и книг, которые везла в деревню, чтобы что-то прочесть оттуда другим…

— Марья Михайловна, что вы….. — Я испугался и со страхом мотнул головой в сторону жандармов, загородив ее от них. Но она не смутилась, а, спохватившись, засмеялась своим тихим, грудным смехом, точно не веря, чтобы кто-нибудь мог не устоять перед ее правдой, да не верил и я в это, взглянув на нее опять. Но видя мою настойчивость, нагнулась ко мне и помогла мне запереть свои книжки.

Ночью кто-то выпил в вагоне, подсел пьяненький к ней. Она и с ним говорила убежденно, страстно и терпеливо подробно, как всегда, о вреде вина и о грехе, который есть от него….. как топчет человек образ Божий в себе и превращается в животное. Я

пытался ее уговорить лечь спать. Сам устроился и притворился спящим, думал, и она понемногу успокоится, но она и не думала. Так и не дождался, когда она ляжет, заснул. Утром вскочил, когда уж солнце было высоко. Но было еще рано; она спала, согнувшись кое-как и подставив под ноги себе свой сундучок, но недолго. Очнулась тоже, опять бодрая и веселая, как и вчера.

В Москве мы разошлись. У каждого были свои дела, свои «явки». Но сходились на моей квартире. Наконец все кончено. Настал и последний день. Я должен был ехать вперед. Она после меня. Но она удерживала. Еще день. Сама позволяла это, даже просила, чтобы отложил я отъезд и с каким-то уже беспокойством, удивившим меня. Господи! Вся сила, вся красота моей любви, так казалось мне, — была в том, что не смел я и думать об одном лишнем миге побыть с ней ради себя, что отказывался от всего. Теперь же, когда она сама просила меня побыть с ней, разрешала это мне, я растерялся. Но что-то манило меня в этом и льстило. Поехали в Петровское-Разумовское. Она предложила это, там была у ней знакомая квартира. Что-то хотела там мне одному без других открыть, побыть со мной ради любви ко мне — в первый и, может быть, последний раз в жизни. Так понимал я это и терялся. Не знал, что будет, и окажусь ли я достойным. Но когда ехал с ней рядом в трамвае, вдруг заметил в себе, что самая гадкая и низкая мысль ползет мне в голову, не чувства — этого благодарение Богу еще не было, — а мысль от неверия в Бога, от незнания того, что нужно. И знал, что она гадка, и ужаснулся тому, что она еще возможна во мне, но и не мог ее отогнать от себя. Страшно было с такими мыслями быть около нее, видеть ее. А ее взор был по-прежнему ясен и глубок, и строг и сиял неограниченной любовью и доверием и тем еще более мучил и жег меня. Вся жизнь, казалось, трепетала теперь на страшном острие — и моя, и ее. Приближалось, я знал, то, о чем мы еще никогда ничего не заикались друг другу. Но что. Что и не знал….. и молчал, и молчать было страшно.

В Петровском долго ходили по парку. Она останавливалась иногда, что-то долго думала, устремляла глаза, блестевшие влагой, к небу, то строгие, то ясные, иногда улыбка озаряла лицо и сияла любовью ко мне, но молчала и уж не смеялась, как раньше. Молчал и я, боясь мешать ей, но все более и более далеким и отходящим от нее чувствовал себя из-за своей нечистоты и мучительно скрытой мысли, которую по-прежнему не мог отогнать и про которую по-прежнему знал, что она мерзка.

Потом на квартире нужно было побыть и с хозяйкой дачи, старушкой, и ее дочерью. Вечером в мезонине опять вдвоем. Нам отвели две комнаты. Теперь уже не мог долго оставаться с ней —

так страшно было вдруг обнаружить перед ней свою нечистоту. А главное: не знал — для чего же другого и как мне быть с ней вместе вдвоем с глазу на глаз. Говорить о других мы умели друг с другом. Но теперь уже все это было переговорено нами, приближалось что-то иное, что касалось только нас одних, но что, что? И опять не знал ничего, кроме нечистого, и ничего кроме уже осужденного ею — я это помнил — не находил в себе. Она сидела долго на балконе. Смотрела в верхушки молодых березок. Я видел ее. Почти не глядел, но видел, видел все существо ее, видел лицо ее, видел ее черные зачесанные простым пробором волосы, видел весь страстно, с тоской устремленный куда-то в глубь себя облик ее, и вот вдруг так беспокойно и больно стало от того, что видел в ней, что готов был заплакать. Опять то недоступное для меня и недосягаемо чистое, что всегда чувствовал к ней, что напрасно считал в последнее время достигнутым мною, но про что знал, что никогда еще ни с кем, ни в себе одном, ни с ней причаститься ему не мог, это было теперь в ней, и не мог уж более оставаться тут — но робко, чтобы скрыть свою боль, сказал, что хочу идти на отдых, что устал. Она спокойно отпустила меня, с ласковой улыбкой, но сама осталась.

На другой день опять то же: гуляли по парку и по улицам Петровского. Где-то пили молоко. Говорили о другом и сами знали, что это уже не то. Потом опять со старушкой….. Наконец вышли в поле….. Она торопилась. Точно хотела еще сделать какую-то последнюю попытку побыть со мной, приблизить меня. Побежали через луг прямо в лес, в березовую рощу. Но я уж не верил в себя. Шел как мертвый. Там бродила она между березками, ласкала их, прижималась к ним щекой. Потом сидела долго в траве….. и я сидел перед ней, но грустный, страшный, боясь быть близко. Она опять смотрела на небо то строго, то ясно, иногда вдруг заглядывала на меня и таким теперь грустным, грустным и глубоким взором, что казалось мне — свет проходит и все гибнет. Щемило от него сердце и увлажнялись глаза. Хотелось просто встать и подойти к ней, как брат к сестре, приласкать ее, поцеловать ее прямо в лоб. Но не смел, еще помнил свою нечистоту — и сидел неподвижно, как оцепеневший. Приближалась гроза. Забарабанил дождь кругом. Встали, побежали на дачу, ничего не сказав друг другу. Теперь вдыхала аромат цветов — и я говорил о цветах, о грозе, чтобы скрыть, что было. Но что же там было. Что случилось и чего не произошло из того, что должно было быть, гвоздила мысль — и чувствовал что-то утраченным и не совершившимся навеки.

На другой день прощались на вокзале. Она уже ничего не скрывала от меня, была вся тут, как сестра родная, с которой

вырос я с детства и которой нечего стыдиться перед братом. Когда заметил на глазах ее слезы, спросила меня прямо: как я — еще стыдясь своей слабости. Я солгал, что я бодр, и говорил о своих намерениях, планах, но она созналась о себе, что ей всегда больно, больно прощаться с людьми, не может иначе.

Потом звонок. Я вздрогнул, все похолодело во мне. Гляжу на нее. Хочется опять безумно припасть к ней — хоть как-нибудь, только на прощанье поцеловать ее в лоб — чем-то успокоить ее….. Но говорю сам не знаю, что говорю, что, кажется мне, мы скоро опять увидимся, что через месяц, наверное, я сам приеду к ней, в Тульскую, что мне в Курской губернии, наверное, нечего будет делать.

Она вздрогнула, встрепенулась вся, точно только этого и ждала.

— Да, да, непременно….. буду ждать вас. Приезжайте, там можно у меня….. и пишите о себе чаще…..

На минуту точно стало легче. Я чувствую, как она глядит на меня просто, с чистой, с материнской, как ко всем, любовью, еще что-то хочет сказать мне — и стыдно и сладостно мне от любви ее. Но безумная мысль вдруг прорезывает сердце — а что, если жесток теперь, что так оставляю ее одну, что, может быть, нужен ей, нужен, чтобы был возле нее….. Но еще звонок, последний. Свисток. Поезд трогается. Она пожимает мне руку. Идет возле, ускоряет шаги, еще не поздно что-то сделать….. Но нет уже….. Рок. Она бежит за поездом, бежит до самого конца платформы и там стоит.

Когда поезд свернул и скрылся, все не мог войти в вагон. Разрыдался. Так не плакал с самого далекого детства. Потом вошел в вагон. Хотел забрать себя в руки, думать о деле, на которое ехал, которому жертвовал всем….. Но нет, уж не мог. Она и она одна передо мною… ее невыразимо грустный взор. Что же там было? Что же там было вчера в Петровском? Вот что главное. Чего не сказал и что не сделал там. И не знаю, и мучаюсь несказанно.

Семь лет тому назад это было, и только теперь я знаю, что это было. Боже мой! Боже мой! как далек я был тогда от Тебя, как далек был от Света очей Твоих. Люди часто не знают, как быть и что делать им вдвоем вместе, когда остаются друг с другом с глазу на глаз одни, — и молчат, и страшно становится им молчать тогда и спешат наполнять время каким-нибудь разговором или заботами, а если это мужчина и женщина, то и враг их любви, уже дух игры плоти с плотью близок к ним, тут же возле них — но это оттого, что не верят они в Бога, не верят в то, что Он Один — жизнь их и наполняет все и всех кругом и

трепещет жизнью даже в молчании их. А страшно людям нечистым Его, потому что молчанье укоряет их, обнажает пред ними всю грязь и пустоту их, и вот спешат они укрыться от Него, завернувшись скорее в одежду слов перед другим человеком, пока тот не увидел всю бедность и ничтожество их. Таким ничтожным и был я тогда.

Теперь, кто прочтет это, тот, может быть, поверит, что есть грехи непростимые. Ибо думаю теперь и рассуждаю и ужасаюсь — возможна ли была бы та мука сестры Маши и моя и всех других, которая открылась мне тут, если бы не теперь, а 3,5 года уже до этого послушался я того таинственного Ангела своего, который тогда уже звал меня к Покою у ней, если бы тогда уже предпочел ее той мерзкой жизни, в которую вступал. Вот о чем спрашиваю себя и говорю: нет. Думаю так, что хоть каплю бы радости истинной, вечной видел бы с ней и дал бы ее ей, а того, что произошло в Петровском, не могло бы произойти. Свет есть, Свет зовет нас, Свет всегда, и рано или поздно, держит наготове нам Руки свои и объятья свои и никогда не отгонит нас от себя, но что же мы медлим и не идем к Нему, и сами не идя, держим и других во зле и страдании, в котором живем.

О любви ко всем говорили мы друг другу. Любовь хотели нести другим. Любовью горели. А Того, от Кого любовь, Того не знали. К Нему и обращалась она среди березок Разумовского, Его искала, может быть, от Него со мной вместе хотела услышать указание, то ли мы еще делаем, что должны и что нам нужно, или просила благословить наше дело и наш союз. Но этого-то я не мог вместить, даже и в голову не приходила мне мысль тогда о Нем, так был нечист, что ничего, кроме самой низкой и мерзкой мысли, про которую сам знал, что она мерзость и которую все же не мог отогнать от себя, не находил в себе. Господи, Боже мой! Ехали на страшное, на последнее мое с ней дело на земле, дело, как думали, любви, но о Нем не подумали, Его Имени не назвали. Она-то еще помнила Его, она подолгу исступленно молилась Ему еще в отрочестве своем, когда я безумно прожигал дни свои в полном отвержении Его. Мог ли я не почувствовать себя теперь лишним и мешающим ей, со всей своей любовью и своевольной решимостью, когда она, не оставленная Им опять вспомнила Его и опять обратилась к нему. Он и устранял меня от нее. Таков был суд Его надо мной. Нечистый и отверженный Им от нее, от Его избранницы, — но сам считавший себя еще достойным ее — в гордыне своей, ехал я теперь от ней, сам не зная того, что произошло. Но могло ли мне быть теперь легко.

5

В Курске я уж не знал никакого покоя. Лихорадочно делал все, за что взялся. Учительский съезд. Крестьянский союз. Партийная газета[10]. Был присоединен к губернскому комитету партии. Выступил на митинге. Но все не то. Особенно мучила ложь, в которой очутился. Вдруг стал в глазах других чем-то значительным — приехал из Петербурга, из Гельсингфорса[11], из самой Думы. Член комитета, а что я знаю, что могу. И с ужасом видел, что ничего еще не знаю. Меня берегут. Мне навязывают поддельный паспорт, говорят, что нужно. Это особенно мучает. Ведь ложь. Разве в сестре Маше есть ложь. Наконец, не могу больше оставаться в городе. Когда приходят из губернии вести о могущем возникнуть около одного имения столкновении крестьян с войсками, еду туда, чтобы предупредить. Товарищи не советуют. Но там все-таки лучше, там поля, там земля. Сестра Маша говорила, что думает попробовать поработать с крестьянами в поле. Хорошо бы и это. Хочется оживить Старо-Оскольские дни. Ночую в избе замученного в 1891 году в дисциплинарных батальонах за отказ от воинской повинности Дрожжина. Слышу рассказы о нем. А вечером в каком-то шалаше в лесу у кулеша. Но на другой день меня арестовывают в вагоне на обратном пути в Курск. Поддельный паспорт и все бумаги я успел выкинуть. Арест меня не испугал, даже обрадовал, теперь конец хоть лжи. Со станции, на которой высадили, меня привезли в неизвестный мне городок Рыльск. Здесь я назвал свою фамилию, но мне не поверили, а пока наводили справки, заперли в участок вместе с пьяным и каким-то придурковатым странничком. Голубыми ясными глазами глядел он на меня и, узнав, что я студент, вдруг отшатнулся: ты — в Бога не веруешь, Царя не признаешь. Я знаю. Мне страшно стало, что-то высокое было в его лохмотьях и необыкновенной ласковости и кротости ко всем, каких я в себе не знал. Спросил его, что он делает….. — Хожу, странничаю. — Почему? Сновидение было. Так Бог велел. Ничего не посмел я больше сказать ему. Но образ его стал томить и волновать. Его увели. Сжималось сердце. Уйти, бежать к ней, хоть пешком, как этот странник, добраться до нее. Уж теперь в Курске делать нечего.

Стерегли плохо. Я все уже расспросил, узнал. Был праздничный день, кажется, воскресный или Петров день. Городовые после обедни разделись, кобуры и шашки сняли и сели обедать. Один только не снял, тот, который сторожил меня, но и тот спал. Я разбудил его и попросился до ветру. Идти было далеко, через весь полицейский двор. Он провожал меня. На обратном пути я замедлил шаги.

— Небо-то какое нынче ясное, — сказал я.

А сердце так и стучало. Бежать так сейчас. Но городового обмануть.

Помню, как гадко и страшно это было. Шептал: прости. Но идти, так идти до конца. Я ведь революционер.

Он остановился, потянулся, зевнул и стал глядеть на небо. Но меня уж и след простыл. В один миг очутился я у настежь раскрытых ворот и за ними. Позади раздались крики, шум, свистки, гиканье. Выбежали за город, к реке, здесь дорога шла гладкая, в гору, ни кустика рядом. Солнце палило немилосердно. Если пробегу в гору, спасен, там скроюсь и пешком, пробираясь, как этот странник, дойду до нее. Но вдруг в ужасе застыло все: а дальше-то что. Опять не знаю, ничего не знаю. Для чего я у ней. Что принесу ей. Ужели опять то же, как в Петровском-Разумовском. Ведь я-то еще такой же. Ничто не изменилось во мне. В голове закружилось. Не пробегу в гору. Бросился в канаву. Думал — умру сейчас. Разрывалось сердце. Отваливались ноги. Потом очнулся. Надо мной была густая трава; в канаве светло, а высоко, высоко сияло небо. Как хорошо сейчас умереть….. и ничего не надо. Ведь все глупости одни. Игра — наша революция. Что мы в самом деле? Неужели пойдем кого убивать? Даже смешно. И ей ничего не надо. Умру и мучить ее не буду. Только память одна хорошая останется от меня. И больше ничего.

Но вдали шум. Меня еще ищут. Городовой показался в саженях 70 от меня, но около моей канавы. «Его обрадовать», вдруг мелькает странная мысль. «Показаться ему. Как будет рад, что меня нашел. Хоть одному-то человеку радость доставить. Ведь мне больше ничего не надо». Я шевельнулся. Городовой глядит. Я взял и сел на край канавы. «Ведь все равно уж найдут». Он обрадовался, бежит. И я обрадовался, смешно даже стало, как он рад. Смеюсь. Доставить радость одному человеку. Какие же мы все дети еще и как мало нам нужно.

— Говоришь: за народ, а городового подвел, — налетел на меня сзади другой, тот, от которого я убежал. — Убью. Мокрого места не оставлю. Как муху раздавлю.

Но меня от него вырвали. Повели в участок. Надзиратель суетился кругом.

— Погодите, братушки, погодите. Уж придет, разделаемся, будем бить. Не сейчас, не сейчас.

— Теперь убьют. Думаю я, когда ведут, и вспоминаю, что надо перед смертью быть чистым до конца и искренним в себе, хочу этого. Гляжу в себя, что же мне нужно. Городового подвел. Как это глупо, гадко и из-за чего, из-за какой-то игры своей, сам не знаю зачем….. Надо сознаться в этом скорее, просить у него прощения, чтобы умереть в мире со всеми.

— Простите меня, простите. Я не знал, что это будет вам так больно, — шепчу я……

— То-то: теперь простите. Нет уж, теперь попался, шалишь, не уйдешь….. На, вот же тебе. Кто-то дал мне в шею.

Но вот и участок. На дворе заперли все ворота и прогнали посторонних.

— Но, Боже мой, что же это? Теперь бьют….. Ведь это я их довел до такого зверства. Какой ужас, ужас!

Ударили по лицу. Я упал. Потом плюют. Толкают сапогами. Раздели до нага. Бросили в грязный, вонючий, заблеванный блевотиной пьяных чулан. В нем ни лечь, ни встать во весь рост нельзя, так он был мал. Опять плевали в лицо. Старший городовой отобрал ключ к себе, чтобы не убили вовсе. Один пьяный ломился, чтобы задушить. Наступила страшная ночь. Разрывалась жизнь.

Они цветы мои сорвали
И растоптали все мечты…

Так пел я после об этом. Это верно, если только это понять. Да, растоптали те ложные, красивые мечты о себе, которыми мы опьянялись и скрывали от себя истину, ибо боялись взглянуть ей прямо в глаза. Страшное открытие сделал я в себе в эту ночь. Страшно вдруг стало то, что нет ничего страшного для меня. Ну, избили меня. Ну, чуть не убили. Ну, бросили сюда. А что же дальше? С ужасом, с сожалением, даже со слезами глядя на свое ничтожное, избитое тело. Но сознание мое было далеко. Разве били меня, это тело, а я-то что? И что мне нужно? Ни революции, ни бегства к сестре Маше. Ведь я же сам от этого всего отказался — там в канаве, когда сдался городовым. И не было никаких чувств во мне — ни негодования, ни злобы за то, что меня били. Какой же я человек тогда и революционер. Готов был пасть на колени перед ними в тот миг и целовать их ноги, чтобы только не били. Так страшно было за то, что в них вдруг увидел растоптанным их зверством. И голос, что это я их довел до этого. Городового подвел из-за какой-то пустой игры, сам не знаю из-за чего. Дразнил их. И опять ужас. А товарищи, а революция. А сестра Маша. Не изменил ли я им. Что скажут, если это увидят во мне. Где же свобода личности, за которую мы боремся. Мать, мать. Что бы было, если бы ты меня увидела здесь, сейчас. И старался возбудить в себе «благородные» чувства негодования, протеста. Но нет. Стать нищим, незнаемым, от всего отказаться, совлечься, целовать ноги у всех и плакать, и плакать всегда, как плачу сейчас. Это сладко.

На другой день повели в канцелярию. Исправник грубо издевался, допрашивая меня. Когда я заявил жалобу на то, что меня били, воскликнул:

— Помилуйте, да у вас прекрасный вид, — и довольно загоготал.

Вы, обратился он к надзирателю, который первый сшиб меня с ног и плевал в лицо. Вы, он говорит, его ударили.

И опять захохотал.

— Никак нет, ваше благородие. Когда ж это у нас бывает.

Я так и замер. Такой наглой лжи, такой дерзости я еще никогда не видел. Но опять только ужас, ужас за тех людей, которых видел, и за то, что в них. И не знаю, а мне-то что. Ужели мне нужно возмущаться за себя, обижаться на них.

Но в тюрьме, куда увели, написал жалобу. Через неделю приехал доктор и прокурор. Освидетельствовали, нашли кровоподтеки. Возбудили дело. Я опять мучился, не зная для чего. Написал бумагу, что не желаю дело продолжать, что все простил. Еще как-то раз увидел полицейского надзирателя на дворе тюрьмы, когда гулял. Опять возмутился весь, подошел к нему и спросил, решится ли он теперь утверждать, что не бил меня. Он — ничего не сказав, поспешил уйти. Я, взволнованный, вернулся в камеру. Стражник, приставленный ко мне, стал дразнить меня.

— А царь-то таких, как ты, и бить велел.

Я выругался.

Недели через три жандармский допрос меня в тюрьме по обвинению меня в оскорблении Величества по 103 статье, грозящей каторгой в 12 лет. Я отказался отвечать.

Это было последнее мое революционное дело, это слово мое, произнесенное перед стражником. Но как тогда, так и теперь, не нахожу я в себе никакого оправдания ему. Я бы мог его и не говорить. Ни нервами, ничем не извиняю его, хотя и был возбужден. Но говорил его сознательно, как революционер, потому что считал, что как человек, стоящий за свободу личности, не должен, не смею молчать, когда меня оскорбляют. А был во мне уж другой человек, который знал, что все это не нужно.

Теперь в борьбе этих двух человеков во мне и потекли мучительные дни в Рыльском остроге, куда меня из участка отправили. Содержали очень строго в одиночке, как пытавшегося бежать. Как кошмар тянулось время вначале. Не различал иногда дней и ночей. Все казалось каким-то фантастическим сном. Иногда молился, взывал к кому-то, Неведомому, к сестре Маше, протягивал руки и плакал о себе, обо всех на коленях в углу.

Иногда вдруг бурно возбуждал в себе революционные чувства борьбы и протеста, желания вырваться, бороться до конца. Один стражник вызвался передавать мне известия с воли и мои письма туда, — простой и хороший. Он один только и утешал меня. Потом вдруг все падало. Хватался за Евангелие. Стать нищим земли. Блаженны нищие духом. Я кроток и смирен сердцем. Возьмите иго Мое на себя, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко. Но и Он же: порождения ехиднины. Взял плеть и выгонял их из храма. Любить людей, любить всех, но не такими, какие они есть, какие они сейчас, а какими они должны стать, какими могут быть, каким был Христос, какою видел сестру Машу. Вот цель. Вот смысл. Прояснялось иногда сознание и начинал понимать уже что-то новое и опять терял.

Однажды довел себя до того, что вынудил дерзостью начальника тюрьмы, кроткого и жалевшего меня человека, посадить меня в карцер, в темный и холодный, на дне острога. Целые сутки не спал, не принимал пищи, стоял на ногах и радовался. Опять то же чувство, как и тогда, когда избили. Не нужно ничего. Стать нищим, никому незнаемым. Во всем себя одного винить. «Еще мало, еще мало мне этого. Еще все-таки я счастливчик среди всех….. Уйти на шахты….. выпить всю чашу до дна», — написал я после этого в дневник. Особенно мучительны были в это время мысли, впервые приходившие тогда в голову, мысли о том, отчего я — плод каких-то неведомых мне исторических сил — дворянин, белоручка, нежный телом и душой, родился в такой-то семье и вот поэтому только одному уже никогда не сравнюсь с другими людьми, с миллионами и миллионами других таких же, как я, но темных и грубых людей, которым никогда не станут доступны те высокие духовные и умственные наслаждения, которые доступны мне. Мы стремимся к равенству, мы стремимся к справедливости, но вот же ведь это и есть первое неравенство и первая несправедливость на земле. А как ее сгладить и кто виноват в ней. И еще страшней было думать о тех таких же неумолимых, как и эти, силах, о бумажных законах, которые созданы людьми, но приобрели над ними такую власть, что послушно двигают ими, как щупальцами одного огромного вампира-государства, всосавшегося в народное тело, пьющего его кровь, режущего его на части, одних оставляющего без земли, других возвышающего, одних посылающего на войну, других на каторгу, в тюрьмы, на казни. И не было в этом никого виновного. Мы все равны. Все безответственные, мертвые колесики или винтики бессмысленного механизма жизни. Кого винить, к чему стремиться. Иногда, как удав какой, сжимала меня своими холодными кольцами эта безответственность, это

незнание, и чувствовал я, как холодею, как умираю духом и в смертельном, безвыходном ужасе.

11-го или 12-го Августа приезжала ко мне сестра Маша. Не вытерпела, когда узнала, что я арестован. Все исчезло на миг. Все залилось опять Светом. Так велик был Свет, что ни о чем скорбном ей рассказывать не мог, говорил только о том, что хорошо, что прекрасно, как и весной в Петербурге. Она тоже рассказывала, как ей хорошо в деревне, о детях, о крестьянах. За ней уже тоже гонятся. Оставаться в Тульской она больше не может, поедет в Петербург, а там не знает, что дальше. В Курске бабушка Брешковская[12], с нею прощаясь, как мать благословила ее по-русски, перекрестив, и поцеловала в лоб. Она радовалась этому. Только мельком грустно прозвучали известия о разгоне Думы, о Свеаборгском восстании[13], о Столыпине[14]… Но мне уже было не до этого. Потом заботилась обо мне, что мне нужно. Нам дали два раза видеться, два дня подряд по полчаса. Я хотел просить еще об одном дне. Но она запретила просить. Хотя и сама вся вспыхнула, когда не позволили, потому что раньше ей разрешили свидания на три дня. Я видел, чего ей стоило самообладание, когда прощалась. Все время во время свиданий держала мою руку в своей руке — и я чувствовал, что только тут сейчас она спокойна и, может быть, только ради меня, чтобы меня не беспокоить, как и я ради нее. А там, наверное, страшно возбуждена… Уже видел в ней какую-то перемену. Еще один день. Она прошлась перед окнами моей тюрьмы, искала меня глазами. В ворота передала мне цветы. Я слышал ее голос при этом. И все кончено.

И был я с ней все время как чистый брат на этот раз, но уж не до того было, чтобы и это заметить теперь в себе. Когда она уехала, страх за себя и за свое малодушие сменился страхом за нее. Поддержать в ней бодрость, ту бодрость, на которую хватало у ней сил при мне, стало теперь единственной первой мечтой и заботой. Стало самому от этого покойнее, стал разбираться в себе. Написал ей два, три больших письма в Петербург, решился начать говорить ей правду осторожно, о новом, о светлом, о бодром. Написал ей: как хорошо мне было на свободе, в деревне за кулешом, среди леса и ржи, что, может быть, в этом путь: оставить все заботы, всю образованность.

Она бодро писала в ответ:

— Не могу, не умею я говорить и писать….. Но я все хожу с вами и все говорю, говорю….. А вы пишите, пишите мне, так письмам вашим всегда радуюсь. Пишите о себе.

И я говорил, говорил с нею целые дни, как и она со мной. Но вот в конце августа письма оборвались. Почти весь сентябрь не

было писем. Тревога овладела мною. Однажды в начале сентября видел сон. Видел ее в подвенечном уборе. Ее венчают с человеком совсем чуждым ей. Он в пэнснэ, во фраке с белой грудью, очень счастлив и доволен собой. Как ведомую на заключение ведут ее по комнатам квартиры, новой для новобрачных, показывают все безделушки ей. Проводят мимо меня. Она, бледная как воск, бросает взор на меня и точно говорит мне, чтобы я молчал, а сама всем улыбается….. Я понимаю, что боится нарушить радость всех от их свадьбы. И никто ничего не видит. Потом обряд венчания, какой-то маскарад. Потом брачный пир. Я сижу на самом конце стола, не смею шевельнуться. Не смею взглянуть на нее, и кажется мне, один только знаю и вижу ее ужас, — ведь это же ужас для нее, что делается. Но не смею о нем никому сказать. Она не велит. Взглядываю на нее и вижу взор ее. Она пристально смотрит на меня и опять точно говорит мне, что это она сама так решила, идти замуж, чтобы я ни о ком не подумал дурного здесь. Не насильно выдают ее, но она сама так решила, потому что хочет и должна принести им в жертву самое последнее святое, что у ней только еще остается, — свой обет чистоты, на это решилась теперь и это единственное, что нашла нужного для себя на земле. Я чувствую, как цепенею от этой ее решимости. И опять гляжу на нее и вижу, глядит она на меня и точно говорит опять, чтобы я никому, никогда не выдавал ее тайны, если люблю ее так, как она верит, что я ее люблю — единственный здесь, а то разрушу то маленькое и хрупкое счастьице других людей, которое задумала она построить своей жертвой. С таким запретом и с невыразимой тоской и любовью все глядит она на меня и глядит, вся в белом, в подвенечном уборе, бледная как воск….. Я как застывший, я цепенею на месте. А кругом шум, все встают, звонят бокалы, скользят лакеи, смех, ее поздравляют, все довольны, она всем улыбается, ее уже ведут с женихом к нему…. Но она все глядит на меня и глядит, как бы прощаясь, и я не двигаюсь….. Я уже не сплю даже, я понимаю, что это только сон, но боюсь открыть глаза, потому что еще вижу ее, храню ее последний взор. А она все глядит на меня. Целый день я пробыл так, как в бреду, закрывая глаза и опять все видел, видел ее….. видел, как глядит она на меня и запрещает открывать мне ее тайну, бледная в подвенечном уборе и с невыразимой тоской и любовью во взоре. Боюсь шевельнуться, чтобы не нарушить виденья….. И вдруг понял….. С ужасом, со смертельной тоской, ясно, вразумительно вдруг понял. Да это что же? Ведь это же ее смерть….. Боже мой! Ужас, ужас! Ее уже нет. А я то что! Боже мой, Боже!

Теперь уже последние нити покоя и веры оборвались. С тоской, осторожно стал писать я письма друзьям, не смея выдать

им своего предчувствия, стал спрашивать, что с ней. Но вместо ответов от них пришла тайная записка от нее, что она в тюрьме, как и я. Передали с воли. «Она еще жива. Господи! Господи!» Стал молиться. Но записка без пометки числа. Опять беспокойство: может быть, давнишняя, а теперь-то, теперь-то она что. В записке она пишет: «Дорогой Л. Д., хочется на волю, на свободу, нам бы обоим с вами вместе свободой дохнуть», и «приписка: „Пишите дедушке вашему, чтобы он похлопотал о вас“. Целая бездна души ее в этой приписке. Она уже не хочет революции, она уж устала от нее. Боже мой! Так понимаю я эти строки. И еще больше содрогаюсь: может быть, я-то и держу ее теперь в тюрьме, может быть, и кинулась она искать тюрьмы, потому что не хотела быть на свободе, пока я не на свободе, пока не откажусь от того, что бросило нас сюда. Ужели упорствовать еще в этом. Верю ли я. Где же правда.

Только в начале октября узнаю, что она еще жива на земле и что она опять в Петербурге. Ее друзья за нее хлопотали. Начинаю получать письма и от нее. Но от этого не легче. Напрасно борюсь и не могу побороть предчувствия. Сон как живой передо мной, а письма идут долго. Может быть, она писала его, а теперь-то, когда получил я его, ее уже нет. А может быть, это даже и подделка. Самая дикая, глупая, мысль приходит мне в голову. Друзья за нее пишут, скрывают от меня….. Но и письма-то ее какие все страшные, жуткие. Уже не насилует она себя, уже ничем не сдерживает того, что есть….. Такого отчаяния, такого страдания и ужаса я еще ни в ком никогда не видел.

— Мы все скользим, скользим у пропасти. Ничего не знаем.

— Дорогой Л.Д., молитесь за меня, молитесь за всех.

— Я такая темная, неумелая сейчас….. Ничего не знаю, главное потеряла. Так много нехорошего, несознательного во мне…..

— Научите хоть вы, скажите слово. Вы — брат мой, старший брат мой.

— Сегодня прочла, что в один день 16 казней, почти все виселицы….. Какой ужас смерти в палачах, в судьях….. Бедные солдаты, которые всех расстреливают. Вы представьте себя таким солдатом.

— А у нас все то же….. Я мечусь, хлопочу, но дохожу до ужаса. Нет сил….. Все не тем, все ненужным кажется….. Поступила опять на медицинские курсы…

— Хочется молиться за всех. Вся жизнь всех вдруг представилась как на ладони.

— Но свет есть, есть….. Свет все-таки есть. Свет и во тьме светит….. Простите меня, не судите меня.

Она еще хлопочет обо мне. Присылает мне вещи, книги, Михайловского[15], Маркса, даже Канта…… Чтобы успокоить себя, погружаюсь в книги, ею присланные, изучаю их; но чем больше окунаюсь в них, тем больше вижу разлад свой с ними, ничему уж в них не верю. Одна только мысль: бежать и бежать к ней, пока еще не оборвалась вовсе, не изошла последними силами в отчаянии. С ней дохнуть вместе свободой, как она писала мне. На свободе раздумаем, узнаем все. Каждый миг кажется столетием, как бесконечность тянутся дни.

На другое освобождение, кроме как на бегство, не было никакой надежды. Предстоял суд по трем делам, и, кроме того, я был уже административно приговорен к ссылке в Нарымский край на 6 лет. После слышал от друзей, что, в случае моей ссылки, она сама собиралась ко мне туда.

В ноябре, в начале, меня перевели этапом из Рыльска в Курск, к суду. Бессонная ночь в арестантском вагоне, переполненном политическими, каторжниками и ссылаемыми административно в Архангельск и в Сибирь. Кровавый кошмар их рассказов о смертных казнях, которым они были свидетелями, об истязаниях на допросах, об их террористических выступлениях, о приготовлении бомб и других снарядов, счет товарищей, погибших при взрывах и погромах, потом жизнь в Курске, где я из Рыльского одиночества сразу попал в шумное политическое отделение, разгульная жизнь, я не могу найти лучшего слова для того, что тут увидел, распущенность воли, отсутствие всякой твердой почвы у всех, и знаний, и еще более обесценивание своей и чужой жизней, какой-то пир во время чумы, письма другого отделения, доходившие до нас от смертников, гимназист один, ждавший казни, просил нас прислать ему яда….. Наконец, уголовщина, от которой положительно уже невозможно было отделить идейных заключенных, то, что Чернов[16] тогда назвал распылением революции, — смывали окончательно последние розовые представления о ней, срывали последние еще оставшиеся цветы.

Что мне Маркс и Энгельс и Михайловский, которые говорят о строгих и неумолимых исторических процессах, умеют находить для них красивые и даже математически точные формулы. Жертвы, и только жертвы, видел я кругом этих процессов. И были для меня одинаково жертвами несчастными и тупыми и бессознательными и те солдаты, которые всех расстреливают и которые стерегли меня здесь, и те революционеры, которые меня окружали и какими хотели мы с сестрой Машей стать. Какой ужас!: мы с нею стать ими.

Верить себе, только себе. Теперь я знал это, хотя и не знал,

чему это обяжет и к чему приведет.

В это же время получаю две вести из дому грустные. Умерла моя бабушка[17] — тихая и покорная всему в последнее время старушка. Умерла еще моя тетя родная[18], очень любившая меня. Эта в цвете лет, ничем не удовлетворенная, жаждущая, ищущая….. Сколько надежд в ней погибло. Ей я успел послать еще телеграмму, что люблю ее и всегда буду любить. Но так нехорошо, так холодно простился с ней в последний раз, что страшно вспомнить, и знал ли я, что с ней больше не увижусь. Как грозное предчувствие о чем-то близком всем, как суд прозвучали обе вести.

Мы все у пропасти….. Но некогда было уже и думать об этом.

Наконец в конце ноября был суд. Все силы своей души напряг я теперь на то, чтобы быть свободным и только себе одному верящим. Решил говорить одну правду, т. е. ту внутреннюю правду, которая жила в нас, когда мы бросались в революцию. И верил, что за нее меня нельзя судить. Когда я кончил свою речь, защитник, присланный друзьями из Москвы, сказал, что ему нечего прибавить. Вызванные обвинением многочисленные свидетели-крестьяне не подтвердили взведенных на меня обвинений, и суд меня по двум, главным делам оправдал, а по третьему, за оскорбление Величества в тюрьме, приговорил к наименьшей мере наказания, к месяцу крепости, и объявил до приведения приговора в исполнение свободным. Такого благоприятного исхода суда я уж никак не ожидал. Все надежды вдруг вспыхнули вновь. Но меня из тюрьмы еще не выпустили, предстояла административная ссылка в Нарымский край. Я телеграфировал в Петербург об оправдательном приговоре, просил отмены ссылки, а сам стал замышлять бегство. Но шли дни, неделя, другая….. Целая бесконечность….. Последнее письмо от сестры Маши было от 16 ноября, то страшное, растерянное. Писала о казнях, о солдатах, о моей тете. Я не решался больше писать ей. Ждал, как решится дело. Тогда сам приеду, сам все увижу, скажу.

Наконец утром 12 декабря меня позвали в канцелярию тюрьмы и объявили, что я свободен, еще передали из Петербурга письмо от младшей сестры Маши, институтки. Она писала, что Маша была у ней, рассказывала обо мне, и вот она поэтому пишет мне о своем сочувствии и желает мне свободы. Почему же не от нее самой? Дрогнуло что-то внутри. Но, нет. Не может быть. Уж слишком велика была радость свободы. В участке, куда повели меня из тюрьмы, взяли от меня подписку о моем немедленном выезде в Курск. Я выпросил себе один день. Я уж не торопился. Покой, уверенность и мужественная решимость не торопиться,

чтобы тем достойнее оказаться встречи с сестрой Машей, вдруг разом заменили прежний страх, и все тюремное показалось только слабостью. А в Курске надо было еще устроить некоторые другие дела заключенных, успевших передать со мной просьбы на волю, в том числе подготовить побег тому гимназисту, который просил у нас яду. Побег потом удался.

Из участка я поехал к знакомому присяжному поверенному, в доме которого останавливался раньше. Был уже вечер. Пошли разговоры, расспросы. За обедом, когда я сказал, что еще не тороплюсь в Петербург, вдруг водворилось молчание. Муж с женой переглянулись и сразу после обеда стали куда-то собираться. Я думал у них провести вечер и ночь, как это делал раньше, и заикнулся об этом. Но вдруг услышал холодный, как мне показалось, ответ, чтобы я сходил к Кувшинниковым, другим моим знакомым в Курске. Немного задетый этим, я терялся в догадках, что бы это значило, не нарушил ли я какие-нибудь правила партии, которою был связан с присяжным поверенным, я пошел к Кувшинниковым. Это была простая помещичья семья, состоявшая из немолодых уже мужа и жены и их детей, девочек от 17 до 5 лет, считавших меня за героя. Сам брат Кувшинников был со мною вместе в заключении в Старом Осколе, но теперь был на свободе. После всех приветствий, радости и ласк детей, во время которых и я весело заявил, что намерен погостить у них в Курске, после вечернего чая все, я не заметил как — вышли из комнаты, и я остался один на один с хозяйкой дома. Наступило молчание.

— А вы знакомы с Марьей Михайловной Д-й? — вдруг спросила она меня.

Я так и вздрогнул: откуда она знает ее имя?

— Да, знаком, — отвечал нерешительно, не зная, что будет дальше.

— А вы знаете, она ведь очень больна… — начала она.

Но я уже все вдруг понял.

— Ее нет….. От меня скрывают это. Зачем скрывают. Я давно это знаю. она вынула телеграмму. Ничего не скрывали.

— Подготовьте Леонида к страшному для него несчастью. Маша Д. скоропостижно скончалась сегодня 11-го декабря в 10 ч. утра. Руманов.

Всего только вчера….. Одного дня не дождалась меня. Боже мой. Боже. Я выбежал в другую комнату и рыдал.

* * *

Но в ту же ночь со скорым поездом выехал в Петербург. Нашел еще в себе самообладание спешно исполнить поручения заключенных. Зашел проститься к присяжному поверенному. Поблагодарил его. Кувшинников молча сопровождал меня всюду с боязнью, как мне казалось, чтобы я не сделал чего-нибудь над собой. Но мне смешна была эта боязнь. Она ушла отсюда, но я еще остался здесь. Решимость жить была окончательная. Я один исполню, чего не исполнили вместе.

— Хочется для вас жизни нужной, как мне хочется смерти нужной. — Вспомнились теперь эти ранние слова ее мне и стали теперь священным заветом ее мне. Найти эту нужную жизнь, найти форму для этой нужной жизни, для жизни Того, что мы видели в себе уже с нею как Свет.

— За вас умираю….. Ступите на каменную плиту могилы моей и идите вперед и все выше….. нашел я в Петербурге ее слова в записках, оставшихся после нее.

Ничего необыкновенного в ее кончине не было.

Нежная и хрупкая телом, она никогда не думала о себе, стыдилась этого. Никогда не видел ее никто сознающей свою усталость, сонной или жалующейся. Целый день могла она бегать по улицам Петербурга в хлопотах о других из одного конца города в другой, по крутым лестницам, по магазинам, по редакциям, забывая про пищу. Говорили, что такое хождение не могло не отразиться на деятельности сердца. Уже на войне заболела она. Стали появляться у ней какие-то обмороки[19]. В Петербурге она от всех скрывала это. Всегда предчувствуя заранее приближение их, она успевала заранее уходить от всех, запираясь на ключ в своей комнате. Сама лечилась. В последний месяц ее жизни на земле все видели, как таяла ее плоть. Но так же бегала она по Петербургу, готовилась к экзаменам на медицинских курсах….. «Медицинские курсы — это мой поцелуй земле», — написала она раз подруге. «Помнишь Соню Мармеладову, как она велит Раскольникову пойти на Сенную площадь и там поцеловать грязную землю за то, что слишком высоко поставил он свою отвлеченность, свою идею. И я такая же отвлеченная… Слишком долго жила такой отвлеченной ненужной жизнью»….. Так не ценила она то неземное, что все видели в ней и на что молились в ней другие, и так велика была ее жажда здесь, на земле, сейчас же, в грязи ее каждому принесть хоть какую-нибудь радость, оказать этим любовь.

Однажды шла она с подругой по улице. Кто-то попросил у них денег. Сестра Маша сейчас же вынула и дала, и тот тут же при них пошел в казенку за вином.

— Ну вот, зачем же ты дала ему. Ты видишь, на что он просит….. - возмутилась подруга.

— Ну, что ж, и хорошо, что дала. Ты ведь подумай только, Женя, у него нет никакой другой радости в жизни, кроме этой. Пусть же хоть эта-то будет.

Но это уже почти отчаяние, это уж неверие в смысл и цель жизни, неверие из жалости к людям. Жалость наполняла ее всю; жалость ко всем слабым, несчастным и грешным была, казалось, самой душой и даже самой телесной оболочкой ее. Она складывала мучительные складки улыбки на ее лицо, она напрягала стремительно вперед весь нежный, хрупкий стан ее, точно готовый прильнуть и покрыть материнской лаской каждого, она глядела на нас из бездонно глубоких, широких, темных и строгих глаз….. Сама плоть ее была дивным дополнением к ее

духу, так что перед лучистостью ее невольно опускается взор.

Но медицинские курсы ее не удовлетворяли. Мысль о деревне, о ее школе, о «ребятишках, оставленных, покинутых там на произвол судьбы», о голодных — не давала ей покоя. Что-то манило ее туда, что-то открывалось ей, может быть, новое там. Ниоткуда ее письма не дышали таким покоем и счастьем, и радостью, как оттуда. «Как хорошо мне, уютно в школе, писала она. — А кругом красота неописанная, благословенная. Поля, луга, цветы. Казалось бы, только и жить. Только горя реченька заливает всю жизнь». И как любили ее дети и вся деревня, свою Марью Михайловну. Как берегли ее. Но в Тульскую губернию ей после ареста въезд был запрещен.

В Петербурге металась, готова была чуть ли не броситься в летучку, в боевой отряд с.-р., только бы скорей сгореть. Конечно, это было у ней только жаждой жертвы: «Хочу в жертвенник пламенный обратиться»….. прорывалось у ней в письмах. «Я так жизнь люблю, так жить хочу, что от жизни отказаться, отречься готова». Так неудержимо выхлестывалась в безвременье, в вечность ее ничем неудовлетворенная здесь, бессмертная, жаждавшая жизни вечной часть. Иногда мечтала: «Хочу в Финляндию уехать, в лес, в горы, к озерам, и там обдумать свой путь, свое служение до конца».

Мысль о телесной смерти ее никогда не покидала. Что ей недолго жить здесь, она всегда знала и прямо говорила всем. Может быть, это и было то, что всего больше поражало всех в самых же первых встречах с ней. Страшно было слышать это от ее юности, не хотелось этому верить и верилось почему-то невольно. Точно ангел смерти уже стоял около нее, охранял ее от всех, как свою избранницу, и придавал любую остроту и чистоту всякой близости с нею. Страшно было иногда всякого дыхания около нее. И странные песенки слагала она про себя, все песенки тоскливые о смерти.

Ты бескровная, высокая,
Ты ходи по пятам за мной.
Выходи по прямой по дороге
Гордо выходи навстречу мне.

Упаду без слезы
На твой гробик, мой друг,
Будем в смерти мы жить,
Целоваться, любить,
И молиться и песенки петь20.

Но в последнюю встречу мою с ней, весной этого года, она совсем не говорила о смерти, точно забыла или не хотела нарушать нашего весеннего праздника торжества жизни земной, радовалась нашею радостью. Но так же жутко, лихорадочно торопилась все сказать и сделать другим, что считала нужным. «Надо детям сказать все самое главное, нужное, что знаю, заронить….. а потом уйти от всех». Написаны в это время найденные нами последние слова в ее тетрадях.

* * *

В день 11 — го декабря утром она постучалась в дверь своей сестры и обрадовала ее своим согласием пойти с ней к доктору, к которому давно уже уговаривала ее пойти ее друзья и родные. Пока одевалась та, сестра Маша села за лекции, а старушке няне, немке, приказала приготовить ей крепкий кофе. Этот очень крепкий кофе она пила, когда чувствовала в себе приступы головной боли, о которой было известно и другим в ее семье, что она ими страдает….. Возвратившись из кухни в свою комнату, заперла дверь на крючок и, по-видимому, села за лекции. Няня долго готовила кофе, и когда налила его в чашку, услышала шум в ее комнате, как бы паденье кресла или чего-то тяжелого на пол. Подойдя с кофе к двери, нашла ее запертой. В тревоге стала звать. Но услышала в ответ, или только почудилось ей, что услышала слабый, прерывистый стон. Побежали за дворником, взломали дверь, послали за врачами….. Но уж ничто не могло вернуть к жизни ее нежное, как лепестки цветка, и подорванное тело. Родные воспрепятствовали ее вскрытию. Когда я приехал в Петербург, ее уже похоронили.

* * *

Когда меня спросят теперь, кто же была сестра Маша. Считаю ли я ее за особое, какое-нибудь совсем исключительное высшее существо. Я скажу: нет. В этом и радость моя, сказать нет. Такие, как она, были до нее и есть и, благодаренье Богу Всемогущему, еще будут на земле. Но для меня она первая, которую я встретил из таких Свыше рожденных, вот и все ее значенье для меня. В мире же обыденном, как ни исключительно ее явление, — могу указать на родственные ей души. Не только брат Лев Николаевич в последние годы своей жизни среди общеизвестных имен принадлежал к родной ей семье, но и еще то тут, то там среди

бедности нашего общества мелькают мне родные ей лучи иногда там, где их вовсе не ждешь. Недавно попались мне в руки отрывки из писем Веры Феодоровны Комиссаржевской, и я поразился. Какие слова. Какие обороты речи. Если сопоставить их с письмами сестры Маши, то местами покажется, что писал их один человек. Та же мука. Та же бездонная искренность самоукорения и вера и жалость. Не эта ли правда их и не это ли мучение себя правдой своей и жажда найти, воплотить в жизнь что-то такое, что еще никем из людей не найдено, не воплощено, но что ясно предчувствовалось уже ими в глубинах их, и было тем, что покоряло им других людей и будило во всех, кто их видел, какой-то укор за себя. И сестра Маша чувствовала при жизни своей родство с Верой Феодоровной. Раз, помню, я провожал ее, она шла просить о чем-то Веру Феодоровну за кулисы ее театра. И хотя раньше никогда с ней не встречалась, но шла к ней так, как к старой знакомой, ничуть не сомневаясь, что та сразу же ее поймет, и другие иногда сопоставляли их двух. Только, конечно, и это сопоставление должно иметь свои границы.

* * *

Сестра Маша верила в Бога….. Вот главное, что было в ней, и то, что знала Его, и как-то особенно знала, как не всем это доступно знать, и о чем она никогда ничего не говорила прямо нам, — и было той грозной тайной вокруг нее для нас, какая ощущалась всеми и будила даже суеверный страх иногда….. Трудно нам говорить об этом, о чем-то высшем, только ее одной касающемся. В юности, нам известно, она упорно и помногу молилась:…..«Мне страшно….. Я боюсь Бога»…… Долетают нам оттуда ее слова из воспоминаний о ней ее близких, о ночах с нею….. Точно какой-то спор ее с Ним было это и ее непокорство Ему. Ибо и на высших ступенях близости к Нему бывают уклонения от Него. Но как нам судить об этом, когда и до этих-то ступеней мы не можем возвести своего взора….. Но вроде было это так, что отказывалась она от высшего жребия или пути, к которому Он ее предназначил, предпочитала ему нечто низшее и даже лучше смерть телесную, чем путь высокий, который бы слишком отделил ее от людей, среди которых была рождена на земле. «Ты знаешь, я Бога хулю, иногда дерзко хулю», находим мы в ее ранних письмах. «Отца ненавижу, зачем Он встал так высоко над нами….. но Христа люблю: Он тихий и кроткий брат».

Сама боялась стать превознесенной, высокой, спускалась в

самые низины жизни, хотя и слышала голос, звавший ее к высшей любви…..Через земное хотела достигнуть небесного. «Полюби землю сначала», — учила она себя, но точно не до конца твердо верила, что через небесное может преобразиться земное, если только пойдет к Нему с полною верою. Был и ропот в этом на Бога за страдания других. Спускаясь к грешнику, сама готова была накинуть на себя покров грешницы и быть грешной перед Ним, дерзко с вызовом к Превознесенному Чистому, чтобы стать близкой к грешным, как тихий и кроткий брат их, но в этом непомерном и своевольном даже подвиге любви к людям теряла связь свою с Отцом Светов, против Которого восставала, и тогда в ужасе молилась жаждой смерти, сознавая себя самое нечистой, темной, неумелой, не могущей спасти, кого хочет. Страшны, отчаянны были эти минуты ее, минуты «бесконечного, бездонного отчаяния». Долго в такой муке жить не могла и истекла наконец силой воли к жизни на земле. Захотела смерти. И Того, против Которого она восставала, сама пылая Им же, ибо — кто Он Другой — как не эта самая неизмеримая жалость ее и боль за всех. Он, возлюбивший и ее как всех нас паче Самого Себя, не оставил ее без Себя, когда увидел ее в нечеловеческой муке, в сознании своей нечистоты и своего бессилия сделать что-нибудь без Него: я такая растерянная, все, все, все потеряла, совсем сбилась с пути; ее последние письма — но послал за ней Своего Ангела, ее любимого Ангела смерти, чтобы вернуть ее к Себе как Свою любимую дочь, и чтобы ныне освобожденная от земли могла она стать навеки неразлучной с теми, кого возлюбила здесь. Так и есть она ныне пламенный Серафим на всех невидимых путях наших, с нами всегда и всюду. Не нам уж судить о ней. Но и в самом попущении Богом того, что мы видели в ней на земле, мы видим любовь Его к нам, ибо попустил Он нас видеть, как и в человеке любовь к людям может достигать той высоты, что готов он стать и остаться лучше грешным перед Богом, чем видеть себя одного спасенным и вознесенным, когда другие еще пребывают во тьме греха…..

7

Но жуткое чувство посетило меня, когда ночью в вагоне не мог уснуть. Опять, как и тогда в участке, когда избили, страшно было то, что ничего, в сущности, не было страшного. Что же это такое, ужаснулся я сам себе. Вот и случилось самое страшное, страшнее чего ничего я не мог себе представить, смерть сестры Маши. Ее не стало. Ее уж я никогда, никогда больше не увижу и плачу об этом, но мне и не страшно. Как будто бы даже и

радостно что-то в этом….. и что. Как будто бы и ничего….. Что же это такое. Боже мой, Боже мой! И ничего не знаю. Лежу в вагоне наверху, стучит вагон, покачивается все, закрываю глаза, стараюсь навеки, навсегда хоть в глазах своих сохранить ее образ, какой ее видел в последний раз в тюрьме, или вот когда ехал с ней из Петербурга в Москву — или в Петровском-Разумовском. Люблю и вижу ее….. Но разве это она. Ее нет со мной….. и мне ничего. Не содрогаюсь, не умираю сам. Ужели же это я так бесчувствен, что даже и ее смерти не могу почувствовать. Думаю я. Но дух не принимает вести о смерти другого, потому что сам не знает ее, только я-то этого еще не понимаю. Зато в настоящем ужасе переворачивается все существо мое при мысли: а что, если она умерла, а мы-то все останемся такими же, как и были, и ничто не воскреснет, не возродится в нас к новой жизни. Нет. Это невозможно. Этого не должно быть. Господи! Господи! На допусти же этого. Не допусти, чтобы ее смерть — нет. Уж не это слово — не решаюсь выговорить про себя это слово: может ли она умереть….. а ее жертва-жизнь — не прошла для нас даром. И есть цель впереди: жить, как она учила, как она хотела, чтобы мы жили на земле….. только сумеем ли?

В Петербурге не решаюсь сразу пойти на ее квартиру, сначала к друзьям, потом к родным, там ведь тоже все смерти….. Наконец вечером, когда стемнело, вошел в ее комнаты, не смея взглянуть ни на кого. Но Боже мой, здесь всего только три дня тому назад она сама, еще живая, во плоти, ходила, всего касалась своими руками, все видела и слышала. Здесь каждая безделушка, мебель, стулья еще дышат, еще носят ее телесные следы на себе….. Могу ли я поверить, что ее нет, что сестры Маши нет, когда слышу, как звучит ее тихий, грудной смех и ее прерывистый, нежный голос, всегда захлебывающийся, когда говорит она что-нибудь восторженно о других….. Всего только три дня тому назад….. И вот люди, которые это все видели, и они говорят ее нет….. Рассказывают о ней….. Невозможно говорить об этом, но еще невозможней молчать….. Рассказывают, сами знают, что не то, что нужно….. Но и это все живет и становится нужным. Слышу подробности о ней, о последних днях ее, о всех словах ее, о всей ее жизни. Рассказывают, что уже и тело ее, нежное, как цветок подрезанный, это хрупкое тело ее схоронено где-то на далеком и чуждом мне кладбище….. и его я никогда, никогда уже не увижу больше и плачу об этом опять. Но разве это она, разве она вся тут. И ничего не знаю, еще ничего не понимаю и томлюсь невыразимо.

Начались странные, как зачарованные, но все же и в боли своей сладкие дни.

Куда ни пойду, образ ее всюду со мной. Боюсь уже каждой

минуты, когда бы его не было со мной. Берегу, храню его в себе. Закрываю глаза, вот вижу ее. Вижу волосы ее и глаза ее, устремленные на меня, — глубокие, строгие и эту мучительную улыбку на ее устах. Но и ведь это еще не она. Ведь это только воспоминание наше о ней, образ, отпечатавшийся в нашей памяти. А где же и что она сама?

Из Петербурга как-то раз вырываюсь на Иматру, там брожу один, сижу один, зову е….. Но страшно одному. С Иматры бегу опять в Петербург, к ее друзьям, к ее родным, в ее комнаты….. Однажды прорывается Свет в сознание.

> Смерть и время царят на земле.
> Ты владыками их не зови.
> Все кружась, исчезает во мгле.
> Неподвижно лишь солнце любви[20].

Да, все сгинуло. Но не сгинула наша любовь к ней. Кого же мы любим. А можно ли любить то, чего нет. Еще думаю: Да и переменилось ли что от того для меня, что вот вместо моей ссылки в Нарымский край, где я так же бы лишен был лицезрения ее, как и сейчас, переменилось ли что от того, что вместо этого я приехал в Петербург и мне люди говорят, что видели ее бездыханной и что они ее схоронили. Думалось: ведь и в тюрьме я с ней не виделся и считал часто, что ее уже нет на земле, и все-таки говорил, говорил с нею без конца и ею-то только и жил….. Ведь не плоть ее я любил, и когда виделся с нею во плоти здесь, в этих комнатах, разве с плотью ее я говорил. Когда, не смея даже поднять глаза на нее часто, не смея коснуться края одежд ее, всем существом своим ощутительно, ясно, подлинно чувствовал каждое биение ее глубокого, нетелесного, незримого сердца, каждое содрогание в нем неизмеримой жалости и любви ко всем. Куда же могло все это деться. И разве может это сердце перестать биться.

Толстой в своих воспоминаниях о детстве, о своем брате Митеньке написал: «Как ясно мне теперь, что смерть Митеньки не уничтожила его, что он был тем, чем я узнал его, прежде чем я узнал его, прежде чем родился и есть теперь, после того как умер».

Да. Сестра Маша, уже не живущая во плоти, была теперь всюду со мной, не плоть ее и не образ ее в памяти моей, а она сама. Сущностью своей приходила она ко мне в любви и являлась в памяти моей как облик, в котором жила на земле и наполняла все существо мое, как и тогда, когда виделись мы с нею во плоти, наполняла любовью и радостью и жаждой жить в любви и союзе

со всеми. Ее я знал раньше, чем она родилась на земле, раньше чем я встретился с ней и видел и вижу ее после того, как перестали мы видеться друг с другом во плоти.

Приходит брат ее, тихий и ее любимый брат, такой не похожий на всех нас, совсем другой. Слышу споры вокруг ее имени, сам спорю больше всех. Еще невозможно, еще слишком горько помириться с мыслью, чтобы она в чем-нибудь ошибалась….. Еще я….. я виноват во всем….. Но она ничего не сказала нам о революции осуждающего ее….. еще точно вся была в ней, когда отошла от нас. Опять все проверяю, опять все переживаю, что уже мучительно было пережито в тюрьме. Еще раз пробую воскресить в себе старое, освященное днями с ней….. Дума, редакции газет, сходки партии, кружки рабочих, но все уж не то. Уж начинаю ясно чувствовать, что дело не в этом, а начинаю подходить к самому существенному, главному, к тому, о чем писала сестра Маша, что не знает самого главного, существенного, о чем никогда не говорил с ней прямо, о чем не знал еще, есть ли Он или нет. Но как поверить Ему, как поверить Ему мне, после того как так долго отрицал Его вовсе, как решиться сказать другим, что верю. Это-то и страшно; уже, может быть, и верю в Него, уже, может быть, и люблю и готов решиться жить, как Он велел, но назвать Его не смею. А сестра Маша уже тоже другая. Ведь в дневнике, в письмах ее понемногу раскрывается то, что оставалось для меня тайной в общении с ней….. ее любовь к Богу…… «Хочу Богу верить, Ему Одному служить». Ее слова в письме одном. Опять — неверующий я — отторгнут от нее, низринут, недостоин всего. Сама себе заслоняю Свет. Пронизывают как огонь ее слова, когда-то сказанные ею о себе. Теперь я такой.

Однажды вырвался из Петербурга.

Сестра Маша любила брата Григория Петрова. Он был теперь сослан в Череменецкий монастырь. Пойти посетить его казалось делом завещанным ею. А еще больше хотелось остаться одному на воле среди лесов и полей, какой-то зов таинственный был это.

Поехал. Там нужно было идти от Луги до монастыря пешком верст [21]. Тишина обступила меня, когда я вышел из поезда. Было раннее весеннее утро. Люди еще спали, только птицы чирикали кругом, и вставало ясное солнышко. Но люди не знают, сколько духа кругом, они себя только считают одухотворенными. Дух же не есть ум, которым только и жил я почти это время. Это только очень малая способность их, которою они отличаются от животных. А дух есть нравственная сила, и область ее — покорность, безропотность, радость и трепетность жизни, бессмыслие, глубина, покой и все вместе преданность Вечному, —

те самые силы, которые разлиты и в солнце, и в камышах, и в цветах, и в зверях. Кто же решится утверждать, что этих сил в них нет. Но иначе как нам объяснить то могучее таинственное воздействие их, какое испытывает человек, когда попадает в общение с ними. Одна собака иногда способна оказать человеку больше помощи, чем десять умов. И вот то, что не могли мне сказать ни люди, оглушенные своею жизнью в городе, ни книги их, ни мои мысли в их душном плену, то сказали мне теперь прыгающие белки с сосны на сосну и старогодний мох и песок. Шел не торопясь, часто присаживался. Глядел на льдины, еще плававшие на озере. И мир понемногу, таинственный и глубочайший, сходил все больше и больше в душу. А и сестра Маша была тут как тут. То мелькала она между деревьями, как и тогда в березках Петровского-Разумовского, еще с невысказанной мукой, с невысказанной любовью и с невысказанной верой….. то садилась рядом со мной уже как сестра примиренная, успокоенная, точно омытая от своей муки и искупленная и радующаяся ныне всему, если решусь….. Борьба продолжалась недолго. Трудно, трудно тебе, Павел, идти против рожна, прозвучал здесь голос во мне из деяний апостольских[22], и вдруг понял его. Оставить, оставить все. «Возьмите иго Мое на себя и бремя Мое, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко»[23]. Стать нищим, каким был избитый в участке. Забыть все, забыть всю мудрость твою, всю ученость, совлечься всего. Если не будете беззаботны как дети, не возможете войти в Царство Небесное. Взгляните на птицы небесные, и на лилии полевые, они не сеют, не жнут…..[24] Вот к чему зовет Он меня. И Он Сам или это только Ангел Его тихим веяньем вдруг точно стал рядом со мной, Всепрощающий, Всепримиряющим, Невидимый, Неслышный, но ясно чувствуемый, Всемогущий. Не мог больше противиться. Поверил зову. Решился….. и просто стало все вдруг, как камень свалился с шеи, улыбнулась земля и небо, и воздух, и лес кругом. Я брат их и сын их и сын одного с ними Отца, ибо захотел их покоя и Его вечности. Да будет же отныне Он со мной. Так случилась радость рождения. Как во сне потом пробыл я у брата Григория в монастыре, почти не видя его. Так же пешком вернулся на другой день в Лугу. Так же пело все кругом, когда шел опять по лесу и чувствовал свою решимость, ликовали и солнце, и камни, и лес, и точно ласкались ко мне. Готов был не возвращаться вовсе в город. Уйти от него в поля и леса и луга навсегда, навеки. Но нужно было еще проститься с друзьями. В Петербурге теперь пробыл недолго. Торопился покончить свои дела все, всю страшную игру последних лет и через месяц уехал из него…..

Так медленно и понемногу приводил меня Господь в Свой Дом, вводил в Свое неизмеримо, но вечно сущее Царство Духа, в то Царство, в котором живы мы все и в котором ничто, никуда, никогда исчезнуть не может — где и для плоти чистой и принявшей молниебыстрый в памяти вид есть место, ибо Он Сам есть Всемогущий в вечном пламенном вихре любви, которым дышала сестра Маша в жизни своей на земле. Любовь же не хочет, чтобы что-нибудь исчезло из чистого и любимого.

Но дух еще немощен, привыкший к рабству плоти, привыкший только по следам в ней угадывать движения духа другого; он долго еще боится отстать от них. Что сестра Маша видела, говорила, делала, писала на земле, это казалось теперь прежде всего дорогим и важным. Это собрать, сохранить. Собираю ее письма, переписываю ее дневник. Хочу сам писать о ней, хочу во прахе земном поведать о ней другим, запечатлеть ее навеки в нем такой, какой мы ее видели и знали сами. Пишу повесть «Проклятие» из впечатлений последнего года. Но о сестре Маше ничего не могу сказать в ней, и все не то. Вот и письма ее переписаны, вот и дневник ее сохранен, а дальше-то что. Ведь жить, жить она зовет нас, как мы еще не умели при ней жить, и что-то делать здесь, на земле, а как и что, об этом молчит. Хожу на ее могилу. Там все тихо. Там молюсь ей, хочу услышать ее самое. Но ничего не слышу и не вижу, как опять все то же: ее точно раскрытая, вечно зияющая рана, истекающая кровью, ее незримое сердце и ее вечно бьющаяся любовь и жалость ко всем. Их нести людям….. Но как…

* * *

Намерение у меня было сначала поселиться в одной из сектантских общин, отчасти близких Толстому, и здесь начать жить приучением себя к черному труду среди простого народа и среди сектантов, которых чувствовал уже себе близкими по духу понаслышке о них и по тому собственному духовному опыту, который уже получил. Рассказывать теперь, почему именно туда собирался я и как и в этом велик и мудр Господь, бодрствующий над каждым из нас, мне трудно. Но да веруют этому все, что так бывает со всяким, рождающимся в Бога, не оставляет его Господь одного, а вводит его в готовую Семью Свою, указывает ему братьев и сестер, которые могли бы позаботиться о нем и сами порадоваться радостью о новом рожденном человеке из мира….. Так было и со мной. Но по дороге туда заехал к брату Льву Николаевичу Толстому. Это была живая потребность

засвидетельствовать перед другим человеком свое покаяние и тем крепче связать себя с новыми решениями, а Лев Николаевич оказывался единственным из всего образованного общества человеком, который с детства предупреждал меня о том пути, на который теперь решался вступить….. И вот после первой встречи с ним пришла наконец тут, в Яснополянском парке, та радость, чище которой и трудно испытать человеку с человеком. Совершилось то, что один человек покаялся перед другим, — и оба вознеслись радостью и благодарением к Богу за то, что познали себя детьми Его. К этому не был я готов, когда был с сестрой Машей в Петровском-Разумовском год тому назад, а теперь сидел впервые в жизни, точно очищенный и омытый, радуясь купели.

К этому и готовился, ожидая рано утром выхода Льва Николаевича и бродя вокруг его дома. Одно желание было — высказать свою греховность и принять со смирением всякий самый суровый и резкий суд о себе из уст другого человека. Часов около 9 он вышел в сад и подошел ко мне спросить, что мне нужно. Услышав вопрос, я растерялся и схватил первое, пришедшее в голову слово, чтобы сказать самое главное о себе.

— Я — революционер.

— Я нахожу это занятие самым мерзким, пустым и возмутительным, какое только знаю….. - услышал я в ответ. Он еще что-то прибавил резко, возмущенно в этом же роде и, кажется, сказал даже, что и революционеров всех считает за несчастных, темных и худых людей, с которыми ему и говорить нечего. И быстро отвернувшись от меня, пошел прочь.

Я оторопел. Что-то гордое вдруг вспыхнуло во мне: ведь и сестра Маша — революционерка. Как же он смеет так говорить о всех, осуждая всех огулом, кого и не знал и не видел. Но я видел еще перед собой его сухую прямую, старческую спину, удалявшуюся от меня….. Много лет борьбы и мучительных исканий и мысли, и недовольства собой было на ней и что-то, казалось, благородно-возмущенное клокотало за нею и, вспомнив свою решимость смириться, поборол себя.

— Он — старик. Он смеет так говорить мне и сестре Маше, — подумал я и стоял не двигался.

Но он уже сам возвращался назад, и теперь беспокойно, что, может быть, не дослушал меня и обидел, растерянный и слабый старик, брат мой, такой же, как и я, как и все, и полный любви.

— Я назвал себя революционером, Лев Николаевич, — начал я быстро, путаясь….. но я не совсем такой, я….. но слезы уже душили меня, я не мог говорить.

Он понял все….. Не знал, как лучше быть со мной, что лучше

сказать, как успокоить.

Потом на некоторое время оставил меня одного, отойдя на свою утреннюю прогулку, которую имел обыкновение каждое утро совершать один. И знаю, что в эти же самые минуты и он, как и я один под липами и березами его сада, конечно, молился Богу, — молился обо мне, чтобы Бог дал мне силы воскреснуть, и благодарил Его за меня и радовался перед Ним, ибо есть ли какая радость больше той, какую испытывает человек, ищущий Бога, когда видит другого приходящего к Нему, как овцу затерянную и вот найденную, а эту радость я и дарил ему в этот день.

Днем он сидел с братом Чертковым на террасе и завтракал, а я бродил возле, он что-то рассказывал Черткову и оба задумчиво-весело глядели на меня. Я понял, что говорят обо мне. Потом оставшись один, опять спросил меня, как и утром.

— Как же вас били? Это ужасно. Но я завидую вам. И не было у вас никакого чувства негодования на них. Или, может быть, сколько-нибудь да было.

— Нет не было, Лев Николаевич, отвечал я ему и встретился с ним взглядом.

Он вспыхнул весь. И опять рассказал я ему по его просьбе о себе. Вечером отпустил меня на поезд.

— Ну, дай Бог, дай Бог вам силы! То, что вы теперь избираете, — это самое лучшее, что только можете сделать. Я вот так живу….. Мне уже 80 лет, но от всей своей жизни только и вынес знание, что любовь это Бог — Бог есть любовь и это единственное, что всем нам нужно. Кто имеет любовь, тот пребывает в Боге и Бог в нем.

Еще повторил любимые слова Апостола Иоанна:

«Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит — тот лжец: ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога, потому что Бог есть любовь»[25]. Вот знайте: с этой верой я живу и с этой верой стою на краю гроба и боюсь смерти и надеюсь так умереть. Ну, дай вам Бог, дай вам Бог, и поцеловал меня, отпустил. И нужны были эти слова мне потому, что возвращали к самому простому и несомненному в вере, что близко ко всякому, — и становились мне теперь путеводной нитью, к которой часто приходилось возвращаться в тех бурях и сомнениях, которые еще ждали впереди. Думаю и для многих в этом простом его учении есть великое значение его проповеди и жизни. Мир же и мир ему на веки.

От него я хотел ехать прямо в одну из приволжских губерний, куда у меня был взят билет. Но ночью проснулся на ст. Ряжск,

отсюда всего 50 верст к родной мне усадьбе моего деда, в которой проводили мы детство и в которой я недавно еще бывал каждое лето. Что мне делать в далекой общине братьев, уже устоявшейся в духовной жизни, не принесу ли я им только тяжести своими пороками и привычками, ничем не испытав еще своих сил и решимости. Этот вопрос уже и раньше приходил мне в голову, но теперь после встречи с братом Львом Николаевичем и призыва, который почувствовал в ней к простейшему и несомненнейшему, стало страшно мне удаляться от этого в неизвестное и едва ли уже доступное мне. Не проще ли будет здесь, где грешил, где жил барчуком и барином, умевшим только кататься на сытых тройках и верхом, где пережил уже разочарование из-за стыда перед народом в музыке, не проще ли тут и начать мне свое покаяние и исправление себя с исполнения малейших заповедей, пока только хоть телесного труда, ради смирения себя и опрощения….. Я бросил свой билет под поезд и пошел из Ряжска пешком в деревню. Идти было верст 50. Дни стояли очень жаркие. С непривычки кружилась голова, ныли ноги. Часто присаживался. И вот вдруг ужас, опять новый ужас, подступил ко мне: а что если и это игра? А что, если и теперь только играю, чтобы полюбоваться собой и показать себя людям, и если никуда никогда не убежать мне от себя. Представилось, как другие мои прежние друзья встретят мой шаг и будут говорить обо мне. В отчаянии не знал, куда деться от этой мысли, вся земля, казалось, проваливается и летит в беспощадную бездну. Приходит мысль, страшнее которой и теперь еще ничего не знаю на свете: мысль — лучше умереть, но не телесной смертью, а не быть, исчезнуть вовсе бесчувственным, несуществующим, лучше это, чем новая игра. Но нет и в бездне есть Свет, и Свет и во тьме светит и тьма не обнимет Его. Как последняя соломинка надежды, зажигается, брезжит в сознании другая мысль, думаю: если я боюсь уже игры, то ведь это значит ее уже нет во мне, надо только верить в себя, верить в добро в себе, верить в свою решимость к добру. Бог, Бог любви, Которого знала сестра Маша и о Котором говорит брат Лев, Сам не оставит меня. Господи, помоги мне. Ведь неужели же я уже так отвержен Им, что Он не пожелает меня спасти, когда я хочу этого и прошу Его….. И молюсь, и встаю, и иду.

Только на другой день поздно вечером я, усталый от непривычной ходьбы и еще более измученный борьбой в пути, пришел в деревню, в которой решил остановиться у одного крестьянина сектанта, давно мне известного. Ему и другим собравшимся крестьянам объяснил, что пришел у них учиться жить и учиться трудиться, как они на земле, просил не считать меня более за барина, а забыв и простив мое прошлое, принять

меня в свою среду….. Брат, которого я выбрал, охотно принял меня в свой дом…..

Конец первой части

<Часть вторая>
ОТКАЗ ОТ ВОЙНЫ

Еще через год Лев Николаевич лежал в Астапове в 18 верстах от тех сел и деревень, в которых жил эти годы я. До нас дошли неясные слухи о нем. Сначала, что он ушел из дома. Потом, что он в Астапове. В начале Ноября 1910 года мы с братом взялись класть печь у одного разорившегося крестьянина старика со снохой и многими ребятами. Его сын и единственный работник был выслан административным порядком в Олонецкую губ. по ложному, как кажется, доносу. Взялся класть печь я, а брат, тот брат, который в 1907 г. так же, как и я, пришел к тому, что оставить мирские дела и тогда же со мной встретился, а теперь гостил у меня, мне помогал[26]. 6-го Ноября утром мы приступили к работе. Но не успели разобрать старую печь, как прибежали в избу сказать, что на село приехали какие-то важные господа в мундирах, генералы и исправник — и остановились у волости. А волостное правление на площади против нас….. Потом, что они пошли в школу….. Еще через несколько минут сообщили уже совсем встревоженно, что идут к нам. Хозяин испуганно с вопросами: не будет ли ему чего, что мы у него работаем? сняв шапку уже стоял в избе и готовился их встретить. Мы его успокоили и продолжали работу. В избе стояла пыль и копоть от только что разрушенных опечки[27] и дымохода и сами мы были черные в саже. На порог, нагибаясь под низкий косяк двери, ступил сначала высокий, еще молодой человек, бритый с усами, в губернаторском пальто на красной подкладке, за ним немолодой и полный генерал в жандармской форме — исправник уже мне известный и мне ласково улыбавшийся, волостной старшина и сзади урядник и народ остались в сенях. Изба наполнилась запахом свежего мыла и духов. И странно нам стало нашей грязи перед их чистой без единого пятнышка одеждой.

Губернатор поздоровался, сказал: здравствуйте и с любопытством окинул нас взорами. Мы отвечали: Мир. Потом обратился к хозяину избы с расспросами: почему я кладу у него печь, спрашивал, что беру за работу, хорошо ли кладу, что ем, где ночую? Крестьянин отвечал, что слыщал обо мне, что печи я кладу хорошо, что время позднее, дело к зиме, а печь надо перекласть, никто не берется, он беден, он и обратился ко мне, что денег я за работу не беру, ем, что подадут, и того не ем, потому что мяса не ем, а ночевать хожу в другую деревню. Губернатор и мне с прежним любопытством предложил несколько

таких же вопросов. Я отвечал ему свободно. Говорил ты. Вдруг точно спохватившись, что он вышел из роли своего сана, он насупился — и сделал молча нетерпеливый знак рукой, чтобы лишние вышли. Волостной старшина хотел, было, задержаться, но исправник удалил и его. В избе остались губернатор, жандармский генерал, исправник, я и брат, со мной работавший. Дверь в избу притворили. Губернатор помолчал немного и вдруг резко спросил:

— Вы тот Леонид Семенов, который в 1905 г. был, кажется, задержан в Курской губ. за участие в крестьянских погромах и поджогах? и потом находился в Старооскольской тюрьме? Я это дело знаю.

Я отвечал, что ни в каких погромах никогда и нигде не участвовал, а в том, за что по подозрению был посажен в Старооскольскую тюрьму, — был оправдан Харьковской Судебной Палатой….. так, что это дело можно и не вспоминать.

Губернатор вопросительно посмотрел на жандармского генерала, тот это подтвердил.

Я, желая еще больше смягчить его, прибавил, что все-таки сознаюсь, что тогда был на других путях жизни, чем сейчас, — и считаю, что заблуждался.

Предложив мне еще несколько вопросов о том, где и как я учился, губернатор обратился и к брату А. с такими же вопросами. Его немного насмешливо спросил:

— Что ж и вы были раньше на других путях жизни и заминались политикой?

Тот отвечал, что политикой никогда не занимался.

Исправник поспешил доложить, приложив руку к козырьку, что паспорт А. у него, что наведенные полицией справки о нем подтверждают все, что он говорит.

Говорили мы оба губернатору: ты и называли его: брат.

Удовлетворив свое любопытство, губернатор немного повысил голос и заявил: Вы можете здесь жить и заниматься благотворительностью как хотите. Дело, которое было о вас начато дознанием, теперь прекращено прокурором Окружного Суда, потому что пока ничего преследуемого законом в ваших поступках и словах не найдено. Но если — он еще повысил голос, — я услышу, что вы занимаетесь политикой или позволите себе, как я слышал, кощунственно отзываться о святынях православной церкви и оскорблять благоговейные чувства народа, также принуждать его к своим верованиям, то я этого не допущу и вам будет плохо…..

Я отвечал, что он может быть покоен. К своей вере я никого принуждать не могу — и кощунственно отзываться о том, что

другим дорого, себе тоже не позволяю, это подтвердило, наверное, и произведенное у нас в селе дознание….. Исправник поддакнул при этом и опять одобрительно улыбнулся мне….. Стараюсь же я жить так, как думаю, что мне велит Господь в любви со всеми. Потом объяснил, что не признаю обрядности — и скрывать этого тоже не могу. — Если меня спрашивает кто об этом, я иногда объясняю, — ибо Господь не велит мне таиться и скрывать свою веру — и что есть здесь в волости человека 4, 5 из крестьян, которые держатся одной со мной веры — и суть мне близкие мои духовные братья. Если это кому-нибудь не нравится, то я ничего уж сделать не могу, пусть делают с нами, что хотят.

Губернатор поспешил, как мне показалось, успокоить меня.

— Вам в этом никто и не препятствует. Свобода вероисповеданий и совести дана в русском государстве для всех без исключения. Если есть у вас из народа люди, которые, как вы находите и они сами признают, держатся одних с вами религиозных воззрений, то это их дело, и никто им мешать в этом не будет, и вы можете между собою говорить о вашей вере, но кого-либо вовлекать в вашу секту принуждением или пропагандой я это, как представитель власти во вверенной мне губернии не допущу. А потом — он остановился — немного — я хочу сказать вам свое мнение. Народ у нас темный, он как жил, так и останется всегда жить — и поверьте мне, ему совершенно безразлично, три ли у нас бога или один бог. Ему не до этого. А если я услышу о попытках с вашей стороны поколебать в нем основы государства и православия, на которых зиждется Россия, то вам будет плохо.

Я улыбнулся. Вторично произнесенная угроза меня немного смутила своей непонятностью.

— Что ж ты, брат, мне плохого сделаешь….. Если и сошлешь куда. Бог останется со мной, — а большего ты сделать мне ничего не можешь. И ссылать меня не за что.

Моя речь ему не понравилась.

— Брат-то хоть я вам и брат. А будет плохо, я вам говорю, перебил он.

Я промолчал и, чувствуя, что любовь вовсе нарушилась таким оборотом слов, поспешил смягчить его извинением.

— Прости, брат, если тебя обидел чем. Я привык, считаю за заповедь Божью всех почитать как братьев. Исправник растерянно улыбался и глядел то на меня, то на него; жандармский генерал тоже, видимо, был сочувственно ко мне настроен и улыбался, но губернатор не смягчился.

Повернувшись в полоборота уже к двери, он еще остановился и сказал:

— Да! вы, может быть, думаете надеть на себя мученический венец, тот терновый венец, который принадлежит одному только Тому, Кто есть наш Спаситель и Господь….. Этого венца я вам не дам. А все-таки подумайте.

Потом вышел. Мы успели еще крикнуть ему вдогонку: Мир и благодаренье за посещенье. Исправник и жандармский генерал вежливо поклонились.

Но тяжело нам стало, когда он вышел.

Для чего он был? Полюбопытствовал посмотреть, как мы живем, ибо слух о нас уже дошел и до него? или хотел нас запугать чем-то?!

Вечером, когда собрались все близкие мне в одной избе и обсуждали этот случай, один брат сказал:

— Уронил это он себя, я нахожу, перед тобой, даже вовсе унизил. Запугать не запугал, да и сказать ничего не мог, а честь тебе сделал….. Куды какой слух пойдет: что сам губернатор был у тебя в хате, когда ты самой что ни на есть черной работой нашей был занят, — тут уж не только по всему уезду, а и по всей губернии слух пойдет.

А хозяин избы уж рассказывал любопытным про меня; шапки перед ним не гнул, стоит не дрожит, как мы, а губернатор-то и не знает, что сказать.

Так понял его посещение тот самый темный народ, о котором презрительно говорил губернатор, что он всегда и останется темным…..

Но тяжело становилось мне от этой чести. Чувствовалось, что сам губернатор поймет свою ошибку, и уже понял ее, оттого и переменил в разговоре тон, а теперь не простит мне ее долго. Приходилось задумываться — и ждать того, чтобы стать ответчиком не за себя только, но и за этот народ….. перед гостями непрошеными, перед людьми, которые своевольно брали на себя задачу оберегать его верность темноте….. а нас заранее упрекали в желании восхитить мученический венец, который сами же на нас готовились возложить. И по-человечески становилось больно от всего, что только что произошло. Молодой и недавно назначенный сюда губернатор был весь понятен мне и близок во всем: в своем любопытстве ко мне и в своем невольно задетом моими ответами самолюбии.

Но не успели они уехать из села, как в избу, таинственно подзывая меня и хоронясь от людей, вошел наш урядник, только что отставленный от этой должности и очень меня любивший. Он был уже в вольной одежде. Он шепотом сообщил мне — что слышал из разговоров вокруг губернатора, что губернатор приехал сюда из Астапова, что там много народу, приехали

разные господа из Петербурга и из Москвы, губернаторы и журналисты и все начальство губернии там, и что Лев Николаевич поправляется и Бог даст совсем будет здоров. Меня он стал просить со слезами на глазах, чтобы я съездил туда и взял бы его с собой — что он хочет всю жизнь переменить и чувствует, что это должно начаться с его встречи с Толстым, недаром представлялся этому сейчас такой благоприятный случай — предлагал мне деньги на поездку и свою лошадь на выбор. Но как ни близок был мне в эти дни Лев Николаевич, как ни радовался я за него всему, что слышал о нем — и как ни трогал меня брат — бывший урядник — действительно становившийся мне близким и дорогим — я все же — ехать ко Льву Николаевичу отказался. Ясно виделось, что Лев Николаевич должен быть один в эти минуты, что никто не должен его тревожить и не смеет нарушать его свободы хоть даже малейшим непрошенным напоминанием о себе, чтобы один на Один с Тем, к Которому ушел, он мог решить вопрос о том, как быть ему дальше и что делать сейчас, если Господь действительно дает ему на это силы и телесное здоровье. Но уступил я просьбам брата М., чтобы не вовсе его огорчать отказом и поддержать его доброе рвение, — и написал письмо к брату Душану Петровичу Маковицкому)[28], в котором передавал от себя и от братьев мир Льву Николаевичу и ему и спрашивал его о их дальнейших намерениях. Брат М. с этим письмом в тот же вечер выехал в Астапово, но уж Льва Николаевича там не застал. Приехал туда 7-го утром через час после того, как Лев Николаевич смежил свои смертные очи. Он два раза был у тела Льва Николаевича, виделся с Душаном Петровичем и привез мне от него письмо с извещением о последних земных минутах и словах Льва Николаевича….. Так сбылось мое предчувствие, что я его больше живым во плоти не увижу, — но тем ярче видели мы его эти дни у себя. Он действительно пришел к нам и не во сне, а наяву. Бодрым и светлым младенцем видели мы его — новорожденным, таким, каким был я сам года 3 тому назад, когда после первой моей встречи с ним шел от него сюда. Сколько труда, сколько нового, сколько разочарований еще ждало его впереди, о которых он и не слыхал еще на том пути, который ступил теперь своим бегством в осеннее утро из Ясной Поляны….. Но Господь умилосердился над своим верным рабом. Войди же в Радость Господина Своего, верный раб, — и избавил его Господь от того, в чем находимся мы еще и сейчас.

Так проводили мы Льва Николаевича от сей земли среди верных и близких братьев и сестер его и наших — вместе с нами радовавшихся за него. И опять потекли наши бодрые и светлые дни, еще более бодрые и светлые, чем раньше, каждый день

приносившие что-нибудь новое, ибо Господь не оставлял нас. Но гроза собиралась.

Дело, о прекращении которого прокурором рязанского Окружного Суда мне сообщил губернатор, было следующее. В начале Октября — за месяц до этого — к нам на село приезжали исправник и жандармский ротмистр и вызывали в волость человек 30 крестьян, в том числе и меня, и допрашивали их о моем образе жизни, о том, что говорю или что делаю, не раздаю ли каких книжек, а меня о моих религиозных, а главное о политических взглядах и убеждениях. Следствие было вызвано доносом одного помещика-соседа, что будто я врываюсь в избы, срываю иконы, кощунствую над православными святынями и развращаю народ. Крестьян допрашивали грозно. На одного кроткого и смиренного брата, когда тот запнулся, жандармский ротмистр кричал, что он света не взвидит у него, если он что-нибудь будет утаивать. Меня допрашивали более мягко, но начали тоже с налета. Очередь до меня дошла уже поздно ночью, но я был готов ко всему — с верой в Бога, которому помолился, хорошо зная, что все доносы на меня ложны, я заранее радовался победе Господней, веря, что допрос не только успокоит начальство относительно меня, но и надолго прекратит все те попытки вызвать против нас преследования, какие все время делались то православным духовенством, то в особенности вышеназванным неугомонным помещиком, и внесет успокоение в народ, часто наускиваемый ими против меня, а еще больше против тех немногих братьев и крестьян, которые стали мне близкими, — и потому свободно и охотно отвечал с Божьей помощью на все предлагаемые вопросы.

Когда спросили о политических моих взглядах, отвечал, что политику считаю делом мирским, т. е. таким, от которого отказался. Но этим не удовлетворились, спрашивали, за кого считаю царя — как смотрю на верховную власть в государстве и многое другое. На большинство вопросов я должен был отвечать, не знаю, не думал об этом.

Исправник и жандармский ротмистр удивились.

— Не может быть!

— Ну как же вы человек все-таки образованный….. Неужели о таких существенных вопросах нашей жизни ничего и не думали?

— Не думал…..

— И так-таки не имеете никакого суждения о них? — приставали они.

Я отвечал, что раньше я много думал об этом и казалось мне, что уже имею об этих вещах готовые суждения, по которым и старался тогда жить и действовать, но потом убедился, что не

знаю гораздо более существенное и важное, чем это, — не знаю для чего живу, что такое я, что такое Бог! и увидел, что для решения этих вопросов надо удалиться от суеты, что и стараюсь теперь исполнить, — а до тех вопросов еще не добрался.

Исправник довольно взглянул на ротмистра — и кажется окончательно успокоился. Они курили. Мне это было тяжело, но под всей тяжелой обстановкой допроса блеснуло что-то теплое, светлое. Я почувствовал победу Господню — и умилившись в сердце, возблагодарил Его за это.

Жандармский ротмистр предложил еще несколько вопросов. Я отвечал. Но исправник не слушал. Повернувшись ко мне боком, он положил ногу на ногу и пускал дым.

— Я говорил, что все это чепуха одна, — начал он уже совсем просто. Сидит этот старикашка Бабин в своей усадьбе и от нечего делать, от скуки, — от хандры выдумывает не весть что, и ведь как надоел всем. Целый год уже бомбардирует меня этими кляузами. Я заступился за Бабина — и рассказал как и почему он мог быть введен в заблуждение.

— Не говорите. Он совсем невозможный человек….. - перебил исправник. Жандармский ротмистр смеялся и, прощаясь, просил позволения пожать мне руку. Я попросил и с другими братьями — т. е. и с простыми крестьянами — обращаться так же, как и со мной. Сказал, что мне больно, когда делают между мной и ими разницу. Они выслушали и уверяли, что со всеми обращаются хорошо, но что я могу держаться каких угодно воззрений, но с простым народом они все же не могут обращаться совсем так, как с образованными, — что они его знают….. Но допрос все же скоро кончили, и вели его после меня мягко. Отпустив нас, они целую ночь еще сидели в занятой ими квартире богатого сельского лавочника и что-то писали — а рано утром прогремели их колокольцы мимо нас, они уехали, не заехав даже к тому помещику, который их вызывал и ждал их к себе. А помещик был превосходительный[29]. Обида ему была нанесена. Но после их отъезда я задумался. На допросе меня спрашивали между прочим и о моем отношении к воинской повинности, — но прямо этого вопроса не поставили — а за поздним временем и я не успел его выяснить — теперь же почувствовал, что пришло время — поставить его ребром перед властями — что мужество и искренность требуют от меня, чтобы я еще раз объявил о нем властям. И через несколько дней после допроса — я подал местному уряднику подробное письменное заявление о моем отношении к воинской повинности и о том, как избавился от нее волею Божьей в 1907 г., когда должен был ее отбывать. — В заключение высказывал готовность покориться всякому решению,

какое Господь допустит земные власти принять по отношению меня по поводу этого дела, — и уверенность, что Господь не лишит меня в испытаниях, какие я могу ждать по этому делу, — любви к тем, кто своим положением в обществе принужден будет эти испытания на меня накладывать.

В 1907 году дело это обстояло так: я тогда осенью, прибыв в Петербург после первого моего лета на земле, взял свои бумаги из Университета — чтобы не числиться больше студентом, каким до того времени состоял. Чтобы получить паспорт, предстояло выяснить и вопрос об отбывании воинской повинности. По внутреннему это дело меня сильно тревожило тогда: а видел уже для себя полную нравственную невозможность ее отбывать, и в то же время совсем еще не находил опоры в себе и ответов на то: как и во имя чего буду отказываться теперь? Еще тяготело на мне самом обвинение в моем участии в революции, в насилии, ничем не искупленное перед моей совестью, — и смутно было кругом в обществе, где не улеглось еще волнение, связанное с Выборгским воззванием, тоже призывавшим население к отказу от воинской повинности[30]. Сумею ли я в таком положении удержаться, чтобы быть чистым от политики и быть верным одному только Богу любви….

Вставал передо мной вопрос и самому было страшно его. А вопросы, с отказом от воинской повинности, — о том, что такое государство и его требования, — пугали еще больше — ибо важнейшее главное было еще нерешенным для меня. В такой тревоге пошел я 15-го Октября в Городскую Думу в Петербурге, где происходил в это время призыв новобранцев, — но с твердой решимостью все же заявить о невозможности для себя исполнять эту повинность — чем бы это ни грозило — ибо таиться и уклоняться я не считал делом честным. Но в Городской Думе мне сказали, что тут мне как имеющему права вольноопределяющегося делать нечего. Я пошел в канцелярию при Городской Думе, где в 1899 г. перед моим поступлением в Университет давал подписку — совершенно бессознательно — о своем желании быть вольноопределяющимся и где просил тогда отсрочки до окончания мною курса наук в Университете. Здесь, выслушав мое заявление, удивились, посоветовали обратиться к врачам — когда я это отверг — сказали, что другого порядка для подачи моего заявления не видят, как тот, чтобы я подал сначала прошение о зачислении меня в какой-нибудь полк, который сам могу выбрать, и тогда уж в полку могу отказываться. Подавать прошение командиру полка о желании служить у него, а потом у него в полку отказываться я счел неприемлемой для себя ложью — и в смущении вернулся домой — не зная, что делать дальше!

Через несколько дней на квартиру, в которой я проживал, пришел дворник и от имени пристава предложил мне поторопиться с выяснением моего дела об отбывании мною воинской повинности — потому что без этого они не могут мне выдать паспорта. Я на это отвечал дворнику — что я не знаю, что мне делать с воинской повинностью, что мне она не нужна, а от нее отказываюсь, а пристав, что хочет, пусть то со мной и делает. Дворник удивился, переспросил. Я ему это повторил и просил его это передать приставу. Он ушел. Я ждал теперь, что полиция что-нибудь предпримет против меня, но прошел месяц, еще месяц. Никто меня не трогал. Через три или четыре месяца я решил уехать из Петербурга без паспорта, предоставив все дело на волю Божью и во всем видя Его руку, пожелавшую на время избавить меня от непосильного еще для меня бремени. С тех пор большую часть времени прожил в Рязанской губ. на родине, где все меня с детства знали и потому паспорта и других удостоверений моей личности не спрашивали. Это все я и рассказал кратко в заявлении, поданном уряднику.

После посещения губернатора я не знал: относились ли его слова о прекращении моего дела только к дознанию или и к отношению моему к воинской повинности. Только гораздо позднее я узнал, что губернатор услышал о моем отказе отбывать воинскую повинность только в тот самый день, в который был у меня, — и притом после того, как посетил меня в избе. Но посетив меня, губернатор сделал еще одну неловкость для своего положения, которую и я тогда же почувствовал и которую тотчас же отметил чуткий ко всему народ. Уехав из села, он посетил окрестных помещиков и их спрашивал обо мне, и о том, как они ко мне относятся, но не посетил того, который на меня доносил ему и даже приготовил ему на этот день обед. Обиженный этим помещик действительный статский советник Бабин приписал это неправильно ведшемуся следствию обо мне и влиянию на губернатора — сочувственно настроенных ко мне исправника и жандармских властей. Начались новые доносы на меня и уже на них. В декабре в деревне, которую он считал по старой памяти своей крепостной, — он принудил через урядника и старосту и, путем угроз крестьян подписать собственноручно написанный им приговор — просьбу на имя губернатора, чтобы меня и то семейство в этой деревне, которое меня принимало в свой Дом, — губернатор выселил из губернии. Приводились те же нелепые клеветы, которые были уже опровергнуты на жандармском дознании. Приговор — просьба крестьян, конечно, остались без ответа — но у губернатора уже было другое оружие против меня — и я, оставаясь ко всему, что делалось, безучастным, все-таки по

внутреннему человеку уже знал, что грозы не миновать. Готовился давать миру отчет, отчего и почему я ушел от него! что делаю и что хочу делать помимо и независимо от него? Какое мое отношение к нему? разрушаю ли я его и проповедую ли что против него? Предстояло и самому себе многое остававшееся в этом неясном мне до этого времени — выяснить, ответить себе. Никого мир не оставляет скоро в покое, так бывает со всяким уходящим от него. И в пустыню и леса идет он за человеком, бегущим от него, и требует от него своего.

Мы должники в плену у мира,
Должны мы миру заплатить,
Что каждый взял себе от мира,
Себя чтоб Богу возвратить.

Слагалась песня тогда.

Кого семьей, кого женой и детьми, кого родителями, кого богатством, кого положением в обществе — и другими связями держит он у себя и долго не отпускает; когда и захочет человек бежать из него, не отпустит, пока страданием человек в нем не заслужит своей свободы, не выкупит себя из него слезами, которые должен заплатить на этом пути за то, что жил в этом миру, как он, как и все в нем, и грешил в нем и прилеплялся к нему и других вводил в его грех. Про себя я хорошо понимал, что не заслужил я еще той свободы, которою пользовался эти годы, — что время расплаты мне за нее еще не пришло. Еще более того знал по внутреннему своему человеку, что и не достигну того, чего ищу, если не пострадаю еще в насильственных цепях этого мира, в удалении от тех верных и близких братьев, которые вместе и после сестры Маши стали мне главнейшей опорой в моей жизни. Так дивны и чудны пути Господни! что даже и самые немощные братья мои были мне эти годы опорой — и я без них все же еще не умел прямо и просто обращаться к Господу, не умел, потому что не имел еще достаточного смирения для этого. Сам этого не знал еще до конца, что это так, но смутно сознавал, что это так. — Для этого и посылалось Им Всеблагим новое и необходимое мне на пути испытание, за которое и должен без конца и вечно славить Его Всесвятое и Всесильное Имя….. Одно дело жить среди верных и чистых братьев в любви с ними в постоянных телесных трудах на свободе — и другое дело оставаться одному среди чуждого и враждебного мира — со всеми твоими немощами — и тогда проявить твою веру в Него, не потерять внимания, устремленного к Нему — содержать себя беспрестанно в том смирении перед Ним и чистоте, в которых

одних только человек и может получать от него — непосредственную ту помощь, в которой нуждается. Господи Боже мой! помоги же мне доселе немощному и ничтожному в этом — на этом пути, поистине помоги мне нуждающемуся в Тебе каждый час и миг.

В Январе 1911 г. урядник однажды заехал ко мне за справками, не знаю ли я, где мое метрическое свидетельство, когда я взял бумаги из Университета?.. Потом через несколько времени привез требование, чтобы я с ним поехал в уездное присутствие по воинским делам — для освидетельствования моей плоти о ее годности и негодности к военной службе. Я был телесно болен и не торопился: на дворе стояла сильная вьюга и я по нездоровью отказался с ним ехать. Он уехал. Еще через несколько времени уже в начале февраля — он привез мне запечатанное письмо от А. С. Шатилова. Это был исправник. Шатилов просил меня в нем не отказать приехать на присланной лошади в соседнюю усадьбу князя Д., временно исполнявшего должность уездного предводителя дворянства, — «чтобы поговорить со мной об одном очень серьезном для меня деле». Письмо дышало тем сочувствием, которое я заметил в исправнике уже раньше. Я поехал. В усадьбе встретил меня князь и повел в свой кабинет, где был уже исправник. Оба поздоровались со мной приветливо и объяснили, в чем дело. Дело было, конечно, мой отказ от военной службы.

— Вы представьте себе, в какое глупое, дурацкое, невыносимое положение вы меня ставите? — объяснял князь. — Я теперь временно исполняющий должность уездного предводителя дворянства, и я должен буду председательствовать в этой комиссии — и как председатель комиссии должен буду вас предать суду, который грозит вам каторгой! Ведь это же невероятно. Я буду виновником того, что вас сошлют на каторгу. Я вас с детства знаю. Вы помилуйте! Избавьте меня, пожалуйста, от такой ужасной обязанности. Я сам солдат. Я свой долг выполню. Но вы войдите в мое положение. Пожалейте меня. Неужели вы будете отказываться!

Я говорил, что я переменить ничего не могу, что во всем воля Божия. Его, князя, если он предаст меня суду, за это осуждать не буду, но сам служить ни в коем случае не могу. Одному Бог на земле указывает одно дело, другому другое. Каждый пусть делает свое.

Он горячился, говорил, что надо найти какой-нибудь выход, что так нельзя; просил, чтобы я согласился по крайней мере раздеться в комиссии, может быть, я окажусь еще негодным к военной службе: спрашивали, не чувствую ли я себя нездоровым.

Я говорил, что я чувствую себя телесно здоровым, и надежды на то, чтобы меня признали к службе негодным, лучше не иметь. Кроме того, объяснил, что откажусь и раздеваться.

Это уж их вовсе озадачило. Исправник волновался еще более князя. Доказывал, что своим отказом от службы я противоречу той любви «к простому народу», которую сам имею — ибо — если я не буду служить, то вместо меня должен будет пойти кто-нибудь другой, кто бы, может быть, иначе и не пошел на службу. Предлагали согласиться быть военным писарем, обещая и это устроить — если только я дам согласие не отказываться в комиссии. Я отказывался. Князь опять заговорил о своем ужасном положении и о каторге.

Я, чтобы его успокоить, отвечал, что каторги не боюсь, что в сущности и теперь живу жизнью, не много отличающейся от той, которая будет на каторге, — к черной работе и к простоте в пище и одежде я уже привык — работал и у него на шахте, где работа очень тяжелая.

Князь на это с живостью возразил….. и справедливо:

— Но вы работали у меня добровольно, вас никто к этому не принуждал и вы во всякое время могли уйти с шахты, это не то, что каторга.

— Невозможное положение! — восклицал исправник. — Какая-то дикость-нелепость! Каторга! Суд! Для чего? Почему? Человек, который никому никакого зла не делает!?. Ужели же вы думаете, что армия так нуждается в вас — и от того, что один человек откажется, что-нибудь пострадает в ней!?.

— Если она не нуждается во мне, то отпустите меня с Богом! и я буду благодарить Бога и вас за это, — отвечал я. — Это будет самый простой и Божий выход из всего тяжелого для всех положения.

— Да, но мы не можем этого сделать!

— Ведь вы тоже давали присягу.

— Ведь закон…

— Но я лишусь сна на всю жизнь, если буду знать, что я виновник того, что вы на каторге, — заговорил опять князь. — Вы пожалейте нас.

— Если не можете меня отпустить и не хотите меня предавать суду, то выходите в отставку! — предложил в свою очередь я.

— Вот, в самом деле только и остается! — воскликнул исправник не то со смехом, не то взаправду и встал.

Попробовали еще одно средство.

— Уговоры, по-видимому, не имеют больше смысла, — вдруг обратился князь к исправнику. Тот остановился — поглядел на

него, и потом, сообразив что-то, о чем, по-видимому, заранее было условлено, отвечал:

— Да. В самом деле — лучше прекратить?

— Тогда что ж? — продолжал князь и поглядел на часы.

— Да можно и сейчас. Пристав недалеко, только послать….. составить протокол и все тут…..

— Вы согласны? обратились ко мне. — Мы вас сейчас арестуем.

Я отвечал, что хотя и не простился с близкими мне, когда ехал сюда, но готов и без этого следовать сейчас же хоть куда, хоть на каторгу, куда поведут…..

Они переглянулись друг с другом, помолчали, но потом, видя, что и это не помогает, решили пока отложить. Меня успокоили, что спеха еще нет. Потом вышли из комнаты. В кабинет вошла княгиня, жена князя, женщина лет сорока. Я ее давно знал, знал ее скорбную жизнь еще в бытность совсем юнцом. Но теперь так утомился длинным и непривычным мне разговором — в непривычной обстановке, в их куреве, оба курили все время, — что сидел совсем подавленный и усталый телом в кресле. Княгиня заметила это — и вместо попытки меня уговаривать, точно смутившись, села и замолчала. Потом — стала уверять меня, что не хочет меня ни в чем разубеждать и уговаривать и любопытствовать, а только хочет узнать от меня, чтобы успокоить свою совесть: Правда ли, что я на все готов и ничем не тревожусь — т. е. совершенно уверен, что так, как поступаю, так и нужно. Я отвечал утвердительно[31] притчей из Евангелия.

— Тогда что ж — тогда остается только молчать и порадоваться за вас, что есть еще люди которые что-то находят для себя и стоят в этом.

Еще прибавила несколько слов о своих религиозных убеждениях не таких, как мои. — Сказала, что очень не любила Толстого за то, что тот проповедует одно, а делает другое. Но что смерть его и на нее произвела впечатление и несколько примирила ее с ним.

Я отвечал, что обо Льве Николаевиче нельзя судить по одним его печатным произведениям и по тому, что пишут о нем другие — что нужно было видеть его самого.

Но что-то еще мучило ее. Я чувствовал, что она пришла неспроста ко мне — а что-то важное для нее — спросить меня, высказать, что накипело в ней и не в ней одной, а и кругом в таких, как она, во всем образованном обществе нашего уезда — хотя и не преследовавшем меня и даже сочувствовавшем мне, но и не понимавшем меня — высказать какое-то обвинение его

против меня, ушедшего от него. И она, наконец, решилась.

— Простите, Леонид Дмитриевич, — но я вас не понимаю — мы так давно уж знакомы друг с другом — и я вас давно желала видеть — почему же вы совсем не ходите к нам? Или презираете нас за наш образ жизни?

Но ведь не всем же даны силы так переменить жизнь, как это вам удалось. Но если вы нашли истину — так разве должны вы ее скрывать, мне, кажется, вы должны ее нести к людям.

Я отвечал, что не вижу в себе силы и призвания что-нибудь проповедовать другим. А желаю только сам исполнить в своей жизни те малейшие заповеди, которые несомненно считаю за заповеди Божьи, — и больше ничего. Не посещаю же людей прежнего моего общества только потому, что мне по немощи моей тяжело возвращаться опять в круг той обстановки, тех идей — и разговоров, в которых жил раньше. — Они для меня сейчас как старый покинутый мной могильный склеп. И люди образованные должны войти немного в мое положение и не ждать и не требовать от меня того, что может оказаться мне не под силу.

Она немножко что-то, как мне показалось, поняла в моих словак, во все-таки не успокоилась.

— Но неужели же вы действительно нашли близких по душе — людей из простого народа. Я сама народ люблю. Понимаю, что он очень простой у нас, добрый, верующий, понимаю, что образованному человеку, чтобы освежиться, иногда очень полезно и даже необходимо побыть среди него. Но чтобы вы, человек образованный, — могли бы найти среди него людей, которые могли бы вас понять, оценить, вполне удовлетворить всем вашим потребностям, — это мне представляется невероятным. К грязи, ко всей обстановке их, к этому бы я и сама привыкла, но так, чтобы отказаться от книг, от общения с людьми — как-никак более их умственноразвитыми, это я не могу понять…..

Сколько раз пришлось мне после слышать этот смешной и обидный вопрос. Но что отвечать на него? Что отвечать тем, кто не знает, не видит и не видел того, что я видел и знаю. Братья мои, единственные, немногие, верные, чистые, те, у которых со мною одна душа и одно сердце. Про нас сказано: где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их[32]. И давно уже сказано было: Много ли из вас мудрых и разумных, знатных и богатых. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Господом. С вами вместе учились мы, я у вас учился, вы у меня, и вместе мы у Единого Премудрого. Нас ли разлучит совопросничество книжных и

умных неверующих этим словом Его?![33]

Но княгине я отвечал — что народ народу розь — и что я вовсе не считаю весь народ, как она, добрым, простым и верующим, а наоборот делаю из него очень строгий выбор, так что во всей окрестности нашел может быть 5–6 человек — которых считаю своими близкими, но зато они мне ближе всех кровных моих, всех мудрых и разумных ученых, всех прежних друзей моих — хотя я с ними связи вовсе не прерываю.

Но еще что-то тревожило ее.

— Но как вы, вот что меня удивляет, — начала она опять, — решаетесь тревожить их простую веру….. Ну пусть вам обряды не нужны, но им они нужны еще, они так привыкли к ним. Как можно лишать их единственного счастья и покоя — подрывать их веру? Не грех ли это с вашей стороны?

Целая буря ответов поднялась у меня на этот вопрос, как и всегда подымается она, когда слышу его. Но как говорить их тем, кто сам не дошел до них, не додумался еще! И смирив себя, я отвечал коротко, что ничьей веры подрывать не стремлюсь. Стараюсь только сам жить так, как верю, а о том, что из этого выйдет и выходит, — не забочусь — ибо эту заботу мы должны возлагать на Господа, Который печется сам обо всех и с нас требует только одного, чтобы мы были чисты перед ним.

На ее слова, что про меня ходит много самых противоречивых слухов в уезде, которым она, впрочем, не верит, но что ее удивляют мои некоторые слова, которые — как она слышала, я сказал однажды священнику, я спросил ее: была ли она на том собрании и слышала ли, что там было. Оказывалось, что нет.

А потом объяснил, что однажды еще в первый год, когда пришел сюда, имел один разговор со священником и тогда объяснил ему, что сам в иконы не верю, но в них не верит и молодежь в себе — об этом можно судить по тем прискорбным явлениям, которые у нас в селе были и которые всем известны, известны и княгине. Назад к иконам — народ сдвинувшийся с этой веры последними событиями в России уже не вернешь. Лучше уж говорить им о Боге без них, чем оставлять его вовсе без всякого знания о Боге, ибо за Богом с иконами он уже не пойдет. Вот и все слова, по которым может священник судить о моей вере: все же другие утверждения и слухи, что я хлыст, масон, толстовец, скопец. — выдумки досужих людей.

Становилось уже темно. Она прекратила разговор и пригласила меня в столовую. Там уже князь и исправник напились чаю и дожидались нас. Меня тоже усадили за чай. Угощали сыром, сливками и бисквитом. Исправник ходил по комнате, курил и по-прежнему возмущался всем делом.

— И кому оно нужно? И вдруг каторга, суд! Ну мы все понимаем: войны все это нехорошее дело. Но пусть японцы, пусть немцы раньше разоружатся. Его величество государь Император сам первый об этом заговорил, когда собирал Гаагскую конференцию. И что ж из этого вышло. Одна насмешка. Уж если такой могущественный монарх, как наш государь, ничего не мог сделать, то что же вы-то один поделаете? — спрашивал он меня. Наконец доложили, что за мной приехали из деревни. Братья, встревоженные моим долгим отсутствием, поехали разузнавать обо мне. Я стал прощаться. Князь и княгиня вышли на двор меня провожать. Князь попросил позволения поцеловаться со мной, что я и исполнил с радостью.

Таковы были мои первые встречи с образованным обществом через три года после того, как я ушел от него. Чувствовалась любовь в тех, с которыми сталкивался я, — но и пусто, тяжело как от угара становилось от всего дня, от всех многословных громких разговоров — в которых образованные совсем не делают передышки, точно боятся или считают невежливым молчание, тяжело от того, что не дают тебе ни минуты сосредоточиться в себе, побыть одному, обратиться к Богу, ибо сами не веруют в это и не знают этого, от всего неверия их в то, что Бог есть и что Он Сам без них наполняет уже все своим попечением, и как птица-мать о своих птенцах печется о нас всех, тяжело от всех их хлопотливых и дерзко-своевольных забот о себе, забот обо мне, о других людях, о том народе, от которого себя отделяют и который глупее, необразованнее их, но и в самых малейших своих детях мудрее их — ибо ум не есть мудрость, тяжело от высокоумия их. Господи, прости и мне, и им грехи наши. Но как опустошенный бурей был я душой в этот день, и молчал среди братьев — точно нечистый, точно прикоснувшийся к нечистому и осквернившийся этим.

Узел надо мной затягивался туже и на братьев находила печаль — от меня, но и Господь Всемогущий не оставлял нас все большими и большими милостями в этот последний мой год среди них.

Князь после разговора со мной написал письмо моим родным о моем деле, должно быть, просил их повлиять на меня.

Я в свою очередь написал отцу и деду обо всем и просил их в это дело не вмешиваться, а предоставить все на волю Божию. Мой отец со свойственной ему чуткостью отвечал князю, что считает меня человеком взрослым и потому не может делать попыток препятствовать мне проводить мои взгляды в жизнь — хотя и любит меня и хотя ему больно, что мои убеждения не сходятся с его убеждениями, — но пока ничего не видит другого, как

предложить князю исполнить то, к чему обязывает его служба и присяга. Мать сделала попытку письмом, пересланным через князя, на меня повлиять, а князь неофициально через своих служащих предлагал мне удалиться из уезда на время — в надежде, что дело удастОя как-нибудь затушить. В последнее я не верил, а скрываться хотя бы и на время со своего поста не считал для себя приемлемым, и на все их предложения отвечал отказом.

Недели через две после этого урядник привез повестку, чтобы я явился в комиссию в Данков, и просил меня под ней подписаться, что я являюсь туда сам. Я подписался уклончиво, что я явиться туда не отказываюсь, — и объяснил уряднику, почему так делаю, что обещаний никаких вперед давать не могу, ибо не знаю, что мне в тот день укажет Господь. Но когда этот день приблизился, я почувствовал, что в этот день идти туда не могу. Трудно объяснить неверующим, как и в чем черпает дух человека верующего и ищущего Бога живого удостоверение, что то, что он избирает, указано ему не его волей, но волей Разумной, и высшей чем разум человеческий — но это тот самый Дух, про который в Деяниях апостольских писано: Дух остановил Павла идти в Асию[34], Дух указал Филиппу подойти к богатой колеснице евнуха царицы Ефиопской, когда тот читающий пророка Исайю повстречался ему[35]. Старцы в своих писаниях дают подробные наставления ищущим начинающим и вполне точные о том, что считать нам в себе во всех сложных и трудных случаях жизни, чтобы находить из них выход, указаниями Божьими, какие признаки отличают их от движений нашей воли и нашей души, как достигать их, как выпрашивать их у Господа. Вера, что Бог непосредственно должен давать указания нам как жить, как действовать, даже в ежеминутных движениях наших, отвечать ощутительно на наши прошения и требования к Нему — есть живая вера в Него — она естественно вытекает из веры в Него как в Живого Бога, в Творца, в Промыслителя, в Отца, пекущегося о нас как о детях Своих. Кто говорит, что верит во второе, а не верит или не знает первого, т. е. кто не знает непосредственного Его живого присутствия с нами во всех делах наших и обстоятельствах нашей жизни, тот не знает, что говорит, того вера либо ложь, либо пустой звук. Вопросом может быть для верующих только то, что считать Его указаниями? Этот вопрос занимал и Льва Николаевича при его жизни на земле. Однажды он написал мне в письме, что не видит еще того, чтобы пришло ему время посетить меня и наших братьев у нас (в ответ на их приглашение) — «несмотря на самое горячее желание мое, не вижу наверное того, что вы называете указанием Божьим». В другое время говорил, что, наверное, этого-то особого указания и

не хватает ему, чтобы решиться наконец уйти из дому. И конечно, не рассудком, не человеческим разумом или не каким-нибудь расчетом его руководился он, когда наконец решился покинуть свой дом. Общий признак того, что решение, которое ты принимаешь, есть решение не твое, а действительно Божие — есть, во-первых, глубина твоего чувства в этот миг — ибо без глубины смирения, без глубины сознания всей ответственности за твое решение, ответственности перед всем миром — ибо и с каждой песчинкой в нем связан ты и нет даже ни одного твоего вздоха, который бы не отразился как-нибудь и на других, — без этого сознания не будет и чиста молитва твоя к Богу. Еще нужна чистота сердца: это есть готовность отдать всю твою жизнь за каждое решение, какое бы оно ни было, хотя бы и самое нежелательное тебе, одинаковая готовность на два самых противоположных борющихся в тебе решения, лишь бы решение было не от тебя — а от Него. Когда так молитвой и внутренним деланием и тишиной и болезнованием сердечным стяжаешь чистоту в себе, заметишь, что одно из решений начинает в тебе вдруг превозобладать над другим, или еще третье неожиданно новое является в тебе и поражает тебя своей ясностью и простотой, дает покой и свободу твоему сердцу, отходят его болезнование и все сомнения далеко прочь от тебя. Тогда с верой последуй за этой звездой. В этот миг не нуждается человек в каких-либо доводах рассудка, что это решение и есть истинное, он верой следует ему, веря, что оно от Того, Кто премудрее и разумнее всех тварей — потому что к Нему обращался и Его просил и верит, что всего, чего не попросит человек у Него во имя Его, все дается ему. Но потом, когда уже исполнишь, что повелено тебе было, — и начнешь созерцать повеленное двивной радостью и благодарностью преисполнится сердце твое к Нему, ибо тогда поистине без конца будешь удивляться тому, как мудро было то решение, какое Он послал тебе. Грешный я человек и нечистый и полный всякого смрада своих мятущихся пожеланий и мыслей, но и я — ибо и немощное избирает Господь для дел своих — и так верьте, что и каждый и из вас может быть орудием Его воли на земле, и я стою крепко в той вере как тогда, так и сейчас, что то решение мое, о котором пишу сейчас, было не мое, а Его указание….. о чем и засвидетельствовал тогда письменно перед понятыми и урядником, какие-то невидимые силы удерживали меня — в те дни и не давали проститься с братьями, когда собирался от них идти в Данков, в комиссию, где мог ожидать сразу отдачи меня под суд, грозивший мне каторгой, как говорил мне об этом князь. Только с одной близкой и дорогой сестрой-старушкой, ожидавшей земной кончины, простился я

окончательно. Когда же пришел день, в который надо было идти, я после той молитвы и того болезнования сердечного, о котором говорил, — вместо того чтобы идти в Данков — пошел к уряднику — и написал заявление, что сейчас не вижу указания Божия идти к ним, а приду к ним тогда, когда Господь же это укажет, если же Господь попустит их применить ко мне силу, то это Его воля — и я насилию насилием противиться не буду.

Теперь я знаю, что это было требование Господне — ко мне идти на пути много избранном верности Ему Одному — до конца. Он Один Господин мой, и я должен был я показать людям, что во всех даже и самых малейших делах в распределении земного времени должен Его Волю предпочитать людской, пока я свободен, пока обращаются еще со мной люди как с рабом, т. е. еще не употребляют против меня силу. И Господь Всемогущий тут же указал мне, какое дело Он предпочитает тем всем мертвым делам и горделивым требованиям в разные свои комиссии людей неверующих в Него и привыкших без Него распоряжаться другими людьми и их временем, как своей собственностью. В тот же вечер, когда вернулся я в деревню от урядника, узнал я, что сестра Дуня, — бабушка, совсем слегла и просит меня к себе, ждет, что я никуда не уйду, пока не отойдет она к Богу с миром, и буду около нее до ее последних минут. Так чудно это и совершилось: за мной приехали меня арестовать через неделю, когда она уже лежала без памяти, со всеми нами и со мной простившись, а когда сажал меня урядник в сани, прибежали из избы сказать, что она отошла совсем. Мир и мир всем.

Конечно, теперь можно сказать: ты бы объяснил в комиссии, что задержался потому, что хотел побыть у смертного одра близкой тебе сестры, — но что бы это значило для официальной комиссии. Кто эта сестра тебе? Спросили бы меня. Безграмотная старушка, бывшая крепостная того помещика, который на меня доносил вам! Вот и все, что бы я мог ответить им на это. И еще: когда отказывался я идти в Данков, — я не знал ничего, для чего я это делаю. А только чувствовал невидимую Светлую Силу, которая не пускала меня в этот миг покорствовать людям. Вот и все, что я знал тогда, и что знал, то и написал им. Но моя бумажка, пришедшая в комиссию вместо меня, вызвала там целую бурю. Что такое? Да он с ума сошел! Заговорили все; что ж? Мы будем ждать что ли, когда его бог ему укажет явиться к нам — или ждать повесток от его бога, когда он прикажет нам собираться на заседание. Ничуть не бывало. Господь только указывал им через меня малейшего, что их дело есть дело насильное — и оставалось им только идти в своем деле насилия до конца — т. е. не ждать, чтобы я шел к ним, а применить ко мне

силу. Губернатор так и поступил. Рассердившись докладом об этом, он телеграфировал исправнику: меня немедленно арестовать и содержать в участке до следующего заседания комиссии, т. е. целый месяц. Никакого права по своим законам он на это, конечно, не имел, как и сам потом сознавался, но дело было сделано. За мной приехал пристав с урядником и стражниками, и в сумерки, чтобы не очень заметно было народу, вывезли из села в Данков. Пристав, добродушный, простой человек, извинился и стеснялся и старался так обставить арест, чтобы мне не было «стыдно», говорил, что он этого не любит и т. д. Ночью часа в два привезли меня в Данков в казармы стражников. Исправник не спал и сейчас же прислал мне туда своего служащего с кофейником, со спиртовкой и двумя французскими булками, чтобы напоить меня, согреть и устроить спать. Заботы меня стесняли, но и трогали. На другое утро опять тот же присланный слуга, брат Матвей, повел меня к нему на квартиру. Исправник, как оказывалось, был совсем одинокий холостой человек, жил в собственном доме, но в скромном флигеле-особнячке на дворе. Совсем просто было все у него, со служащим своим и его знакомыми портными и другими простыми людьми города — пил вместе чай — читал газеты, рассуждал и занимался фотографией, а летом садоводством в своем маленьком садике.

— Наш барин простой, совсем простой, — рассказывал мне по дороге брат Матвей — уж как он эту свою службу не любит, сам этого не любит. Только бы выслужить ему пенсию и уйти. К осени думает уйти уж. Он мухи сам не обидит, такой человек, что и говорить. Его «барин» меня встретил за чаем и принялся сейчас же рассказывать, что произвела моя бумажка, — я вас за сумасшедшего не считаю, но вы сами, батенька, даете повод таким слухам. Ну что вы сделали? Для чего это все? Теперь по городу слухи, толки пошли, такая кутерьма, просто страсть. Губернатор телеграфирует вас арестовать. И вот я принужден….. Да вы пейте чай, с сахаром? со сливками? может быть — яйца хотите? Чем мне вас угощать? Может быть голодны.

Матвей тоже угощал, накладывал варенья на блюдечки, постный сахар, орехи, масло. Меня стесняли эти угощенья и шумные чувства исправника, но и радовала его простота.

Он по-прежнему, как и у князя Д., удивлялся.

— И кому это все нужно? Человек никому никакого зла не делает — и вдруг арест, участок, суд, каторга! Да разве нужны вы армии — ну что значит ей один человек! Сам государь император вам сочувствует, ведь он с вами заодно, ведь и он того же хочет. Но когда Его величество сам государь Император ничего сделать

не может, то что же вы-то сделаете. Он собирал Гаагскую конференцию и что ж из этого вышло: одна насмешка других держав. Да вы напишите вашему деду письмо. Ваш дед все может. Ну позвольте я ему напишу. Ему только стоит съездить во дворец — доложить Государю Императору, попросить, вот и все.

Я покачал с сомнением головой — и объяснил, что наоборот я просил моего деда в мое дело не вмешиваться и дед мой мне это обещал.

— Что ж делать тем, которых Бог доведет также отказываться от службы, как и меня, но у которых нет такого, деда, как мой? — спросил я его.

Но он не слушал. Вытащил газеты с портретами моего деда[36] по поводу юбилея 19-го февраля — теперь был март 1911 г. Показывал рескрипт Государя моему деду, которым жаловался моему деду — высший, «самый высший орден, которого ни у кого как у членов Императорской фамилии и нет и теперь есть только еще у него одного, орден Андрея Первозванного», рассказал, как сам бывал у моего деда, и как тот его принимал, и что ему говорил. Рассказывал, как и меня раз встретил в усадьбе моего деда лет 10 тому назад — когда я был еще совсем юношей — студентом и как он меня с тех пор запомнил (это действительно было) — и как я тогда ему показался задумчивым и углубленным в себя юношей — и с некоторой меланхолией.

Брат Матвей от него не отставал. Принес какой-то старый журнал, где был тоже портрет моего деда, и показывал его мне, но видя, что я чем-то стесняюсь, утешал меня, когда его барин уходил в соседнюю комнату — что наш барин и со всеми такой. Наш барин простой, он и с самым последним человеком все говорит, выслушает, усадит — а потом мне говорит: Ах Матвей, уж как это мне тяжело, все аресты, тюрьмы. Слез видеть не могу. Уж не было такого исправника другого и не будет. Это все тут в городе знают. Ведь он кадет. Он все это понимает, он с ними заодно. Шептал он мне. Вы не бойтесь.

Наконец, наговорившись об этом, как малый нашумевший и добрый ребенок в исправничьем мундире, Александр Сергеич немного успокоился, уселся.

— Ну а как? вы скажите мне — Леонид Дмитриевич, ну, во что же вы все-таки верите?

Я почувствовал, что вопрос для него большой — самый главный, и как ни удивился его неожиданности, т. е. тому, что в нем сквозило явное опасение за меня, что я вовсе не верую в Бога, отвечал.

— Верую в Бога Живого, Единого и Всемогущего, Которому и

хочу Единому служить. Кому ж еще веровать?..

Он обрадовался и сейчас же заговорил что-то о Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе. Почувствовав, что он в моем ответе прочел признание и Иисуса Христа за Бога, я немного встревожился и попробовал ему объяснить, что это не совсем так, что Иисуса Христа я за Бога не считаю. Но он не понял — выслушал и, как-то не приняв этого, опять остался при своем, т. е. при том, что это все равно, что я верую все-таки так же, как и он, как и все вообще верующие люди, только, может быть, немножко образованнее его в Этом. Вот и все, и успокоился.

Потом еще спросил меня и я понял, как этот вопрос волнует его в связи с моим предстоящим отказом раздеваться в комиссии, не скопец ли я? Спросил не прямо об этом, а только так:

— Как отношусь я к скопцам? — и сам немного застыдился, что, может быть, сделал неловкость.

Я сказал, что считаю скопцов за религиозных, искренне ищущих Бога людей, очень смиренных — хотя и во многом заблуждавшихся. Удивляюсь, за что же их преследует правительство.

— Но ведь это же безнравственно, что они делают! — возразил он. — Позвольте! Ведь Бог дал нам заповедь: плодитесь и множитесь! Что ж тогда будет, если так….. Человечества не будет….. Я….. Я не понимаю….. и опять я понял, что он боится не скопец ли я и в самом деле. Мне стало смешно, но я отвечал, что можно, конечно, разно относиться к тому, что они делают, но упрек им в безнравственности — со стороны по крайней мере православного духовенства лицемерен. Потому что и среди православных были и есть монашествующие, отрекающиеся от брачной жизни и не заботящиеся о том, что этим прекратится род человеческий. Были, наконец, и среди монашествующих скопцы, т. е. такие, которые не чувствовали в себе сил победить бунтующую плоть одними духовными средствами и потому прибегали к другим средствам, — такими и являются скопцы сектанты, если бы не гнало их правительство, которое гонением своим — окружает ореолом то, что, в сущности, является у них только немощью.

Он ничего не отвечал, но я видел, что вопрос о том, скопец ли я или нет — так и остался для него невыясненным, но объяснять его подробнее уже более я не пожелал. Наконец — беседа — беседами, а пришло время и отправить меня в участок. Он подписал какую-то бумагу и отпустил меня туда с братом Матвеем, говоря, что все-таки лучше будет, если я пойду туда с ним, а не с городовым по улице, на виду у всех. В участке он тоже обо мне заботился. Была отведена мне маленькая, хотя и грязная,

но отдельная комнатка. Присылал ко мне каждое утро брата Матвея справиться о моем здоровье — с французскими булками и другим угощением; на свои деньги велел мне покупать молоко и рис и позволил самому варить кашу на плитке, которая была в моей комнатке, потому что я мясной пищи не ем. Все городовые и другие его подчиненные посещали меня, беседовали со мной, называли меня просто моим простым именем, как зовут меня в народе: брат Леонид. Не курили при мне. Брат Матвей днем тоже заходил ко мне и с ним мне позволяли гулять немного по городу, на прогулке я заходил иногда и к брату исправнику — на стакан чаю, меня звал от его имени сам Матвей. Опять он угощал меня вареньем и постным сахаром, возмущался нелепостью моего дела, говорил о моем деде и с благоговением произносил слова о Его Величестве Государе Императоре, который должен меня понять, который хочет того же, что и я. И много хорошего, дивного слышал я о нем, об этом чистом как младенец простом человеке в исправничьем мундире от городовых и других ему близких подчиненных.

Но страшными, страшными по той неожиданности, с какой оказались такими страшными, — показались мне дни в участке. То, что было со мной, бывает всегда и со всеми ищущими Бога. Но что понятно мне теперь, то тогда было еще вовсе неизвестно — и так томило меня, что раз в ужасе я написал даже о своем состоянии далеким по пространству, но близким по духу братьям, которых считаю своими старшими братьями. Невыносимая тоска — какая-то пустота, мертвость всего — посещала меня аккуратно каждый день утром сразу после сна и днем в послеобеденное время. Полуденным бесом зовут старцы это страшное состояние и учат нас, как бороться с ним. Но тогда я этого еще вовсе не умел. Ни сестра Маша, ни только что покинувшая нас бабушка, с которой я так бодро простился перед самым арестом, ни другие братья и сестры, которых я внутренно звал к себе на помощь, ни Евангелье, ни пенье наших песен иногда, ничто не могло мне помочь и оживить приходившее уже в отчаяние сердце. Не умел молиться я еще и обращаться к Нему, точно стоял у запертой двери. Не было еще смирения у меня настоящего, для того, чтобы обратиться к Нему прямо лицом к лицу с просьбой о себе. Вот что было это, то, для чего и требовались мне впереди еще многие и многие страдания. До сих пор жил я среди братьев, среди полей и лесов — обучался телесному труду — весь день проходил занятый этим. Это было время внешнего покаяния и исправления себя. Ради других и по истине по неизреченной милости Своей — давал мне Господь и Свет Свой и дивные чудеса Своего Всемогущества, но я — я сам был не чистый еще, жестокий и

холодный, не размягченный перед Ним в своем сердце, и не принесший еще Ему в глубинах своих чистого покаяния. Он и оставлял меня, Он и показывал мне мое ничтожество….. чтобы привесть меня к этому. Но я еще не понимал всего. С ужасом думал пока только о предстоящем мне впереди заключении в арестантских ротах или на каторге. Как перенесу это? Ужели такой и буду там, как теперь, когда каждый день кажется мне вечностью более страшной, чем это было в Старо-Оскольской и Рыльской тюрьмах, когда был еще вовсе неверующий в Бога. Так было это страшно и стыдно, как покажусь теперь братьям. Машинально отвечал я людям, приходившим и спрашивавшим меня, как и почему отказываюсь я от военной службы, — отвечал как и раньше. Но сердце было холодно ко всему, и к людям и к предстоящему делу. В таком состоянии повели меня, наконец, в комиссию. Здесь я по-прежнему, как заранее говорил, от всего отказался — отказался раздеваться перед ними, объяснил, что считаю себя призванным Богом служить Ему Одному, Ему же все эти дела, которые они делают, не требуются, и потому просил их признать меня негодным для их дел не по плоти, а по духу и отпустить как такового просто по-божьему на волю.

В комиссии председательствовал исправник. Князь Д. заболел. Исправник очень волновался. Уговаривал, чтобы я только бы разделся бы и больше ничего. Ведь это еще не значит, служить? Просил, повторял то же, что и у князя. Но я упорствовал.

— Может быть, вы еще окажетесь негодным к службе? — объяснял он опять. — Зачем же мы вас будем тогда предавать суду. Может быть, вы чем-нибудь нездоровы.

— Нет, я всем здоров. — Уговоры продолжались долго. Но ставить в соблазн его и комиссию меня признать негодным — мне показалось нечистым — и даже страшным. Я еще тверже стал отказываться. Кроме того, объяснил я, раздеваться перед вами и стоять без нужды перед людьми голым, считаю делом бесстыдным.

— Что ж вы и в бане отказываетесь раздеваться? — спросил кто-то, но без насмешки.

— Здесь не баня, — объяснил я.

— Но вы нас-то ставите в какое положение! — восклицал исправник. — Вы посудите сами. Мы должны вас раньше освидетельствовать, годны вы или негодны к службе, иначе мы не можем вас ни отпустить, ни предать суду. Нет даже никакого выхода из нашего положения.

— Это дело не мое. Я эти законы не писал и исполнять их не брался. А исполняю то, что велит мне Господь, а вы делайте свое.

— Да вы-то их не писали, это мы знаем, вы-то и нашли себе выход, а мы-то должны же придти тоже к какому-нибудь решению.

— Больничный тип! — фыркнул воинский начальник.

Члены комиссии стали шептаться между собой. Врачи сидели насупившись, не глядели на меня.

Я предложил раздеть меня насильно.

Исправник еще что-то попробовал сказать, но вдруг поднялся со своего места — и выйдя вперед комиссии ко мне, заговорил — еще на ходу.

— Ну вот, ничего тогда не остается. Вот поглядите, к чему приводит нас ваше упорство. Выходит так, что теперь я — я — сам председатель комиссии, высшее лицо здесь, буду вас раздевать. Вот поглядите. — Никто не ожидал этого. Снял с меня осторожно сам поддевку, потом пальто, когда-то подаренное Львом Николаевичем, потом распоясал, снял рубашку посконную, обнажил меня до пояса — и подвинул мне стул, чтобы я сел. Я молчал, но не двигался сам.

— Ну вот глядите, я сам, — я исправник; продолжал он, и я председатель комиссии вас раздел….. Сам председатель комиссии вас раздел. Теперь только разуйтесь и все….. и больше ничего мы от вас не требуем.

— Разуй, брат, сам! — прошептал я тихо.

Но он и на этом не остановился, еще стал просить.

Но уж комиссия возмутилась. Заговорила.

— Ничего не остается. Что ж уж, видно, Александр Сергеич….. Раздались голоса, вернули его на место. Он сел огорченный, взволнованный — и постановили меня предать суду. Я по их просьбе повторил свои объяснения им письменно. А мне прочли постановление комиссии об отдаче меня под суд за упорное уклонение от обязанностей военной службы по религиозным убеждениям, грозившей 4–6 годами арестантских отделений или каторги с лишением всех особых прав и преимуществ. Статью мне прочли и отвели с городовым в участок.

Усталый, измученный, я остался один. Еще пришли ко мне вскоре два брата, приехавших на этот день ко мне. Их пустили повидаться. Пришел брат Матвей и — рассказывал, как потрясен всем и огорчен его «барин» и как он жалеет меня. Что он меня еще жалеет, даже кольнуло меня, так полно было мое сердце любви и жалости — в это время к нему и, отпустив братьев, я написал ему горячее письмо, — в котором писал, как я его понимаю, понимаю его поступок в комиссии, что он один мне был дорог в ней из всех членов ее тем, что мучился из-за меня, но что переменить я все-таки ничего не могу, только прошу его верить,

что радость за него и за его любовь вполне искупает для меня все неприятности, связанные с этим делом, и в неприятностях этих он, конечно, никак не повинен.

Вечером глубокая радость наполнила меня за исполненный в чистоте перед Богом и братьями долг и благодарность за ту помощь Его ко Мне, которая проявилась в любви ко мне исправника, но будущее страшило, не хотелось думать об этом — глубокая — скрытая раньше язва раскрылась мне в эти дни и ждала долгого леченья.

Утром на другой день опять прибежал ко мне брат Матвей с булками от исправника и рассказал, как «барин» тронут моим письмом, даже много раз ему вслух его читал и плакал…..

А через несколько часов меня вдруг позвали в полиции наверх к нему. Исправник встретил меня в своем кабинете, протягивая руку.

— Представьте себе, какое ваше дело! Был судебный следователь сейчас. Оказывается, нет такого закона, по которому можно вас предать суду. Мы ошиблись. Он всю ночь прорылся в своих законах и не нашел….. И теперь отказывается вас принять. Оказывается, и губернатор не имел вас право арестовывать и содержать тут до комиссии. Да это я и сам, конечно, знал, хотя и должен был по долгу службы, к сожалению, исполнить! Но какое же теперь положение создается?!. Если сама судебная власть находит, что нет закона, по которому можно вас арестовать, то на каком же основании я вас буду тут держать. Вот вопрос. До сих пор я вас держал по распоряжению губернатора. Но распоряжение было арестовать вас до комиссии — а теперь комиссия была. На каком же основании я вас буду дальше держать, я должен буду отпустить.

Вошел секретарь вчерашней комиссии. Он ему объяснил тоже. Секретарь согласился с ним. Но мягко заметил:

— Мы должны были — это мое мнение — его насильно вчера освидетельствовать. Мы сделали ошибку.

— Да. Но ведь мы теперь уж не можем отменять свое собственное постановление.

— Не можем. Свое постановление мы должны отправить в губернское присутствие, а оно опротестует. — А пока-то что? Пока-то ведь я уже не могу его держать. На основании чего?

— Не можете.

Так и решили меня отпустить. Комиссия послала свое постановление в губернское присутствие, исправник сделал рапорт обо всем губернатору, а судебный следователь — доклад прокурору.

— Дней через 10 будет ответ, — говорил исправник

прощаясь. — Вы ведь никуда не уйдете.

— Никуда не собираюсь. Буду жить там, где жил.

— Тогда вы свободны. — Благодарил за письмо.

Через четверть часа я уже весело шел по еще снежной дороге домой. Такого оборота дела я никак не ожидал, и сердце было преисполнено радостью и благодарностью Богу за явную во всем руку Божию. Но в глубине его томилась глубокая и незаживленная рана, раскрытая сиденьем в участке, — и будущее тревожило, как никогда еще за все эти 3 года. Не было настоящего покоя теперь даже и среди братьев, видел немощи свои и ужасался.

Но прошли 10 дней, 2 недели, 3 недели, о моем деле ни слуху, ни духу. В конце Апреля после овсяного сева я собрался сам в Данков.

Было в это время во внутреннем человеке моем странное двойственное видение грядущего; и что случится со мной в мире наружном, я не знал — но чувствовал ясно, что внешнее изъятие меня из среды братьев, насильственное взятие в мир, столкновение с ним, скорби, связанные с этим, мне нужны и потому неизбежимы, а с другой стороны, и верил и знал, что Господь не попустит мир осудить меня за отказ от военной службы, если я во всем буду следовать Его указаниям и на Него Одного полагаться. Как это произойдет, я не знал, но верил, что будет победа Господня. Пока же, не веря своему временному освобождению и готовясь к новым испытаниям, решил посетить и Петербург — где тоже были у меня близкие люди, чтобы проститься с ними, и на местах, где — во плоти жила сестра Маша, еще раз укрепиться общением с ней для предстоящего. Но для того, чтобы ехать в Петербург, надо было мне добыть какой-нибудь паспорт и повидаться с братом Александром Сергеичем, с которым связал себя обещанием, что никуда из его уезда не уйду. Вот я и собрался к нему. — Он и брат Матвей встретили меня теперь как старого знакомого радостными восклицаниями. Пришел я к нему прямо на квартиру. Сейчас же началось угощение, чай, постные конфеты, варенье, масло, все как и тогда — исправник рассказывал мне про мое дело. Он недавно был сам у губернатора — и губернатор говорил с ним обо мне. Оказывается, и губернатор, и губернская комиссия, и прокурор не решились что предпринять. Прокурор будто бы объяснил, что по смыслу закона — со мной ничего сейчас и сделать нельзя, что подходящей статьи, меня преследующей, в нем нет и что следует поэтому меня пока оставить в покое и дело отправить в Петербург с просьбой о разъяснении. Возможно, что там согласятся с ним и сочтут, что случай, законом не предвиденный, и что нужно будет

поэтому издать новый закон, а тогда новый закон меня уж не коснется, потому что закон обратной силы не имеет, возможно, что министры сделают какое-нибудь административное распоряжение или сочтут нужным передать дело на разъяснение Сенату, что дело тоже очень затянет, так что можно думать, что меня-то уж все-таки больше тревожить не будут.

Александр Сергеич был очень доволен таким оборотом дела, опять рассказывал про Государя Императора, про Гаагскую конференцию и про то, что никому это глупое дело не нужно. Рассказывал, что будто бы и губернатор ему сказал:

— И представьте себе, дело такое небывалое и запутанное, что и я — который должен быть блюстителем закона в губернии и всем подавать пример законности, поступил с ним незаконно, это ему объяснил прокурор, я и не имел вовсе права его арестовывать….. Ну я, конечно, со своей стороны поспешил уверить его превосходительство, чтобы он не беспокоился, что с моей стороны было все сделано для того, чтобы этот недолгий арест не был вам тяжелым, — и вы ведь, надеюсь, особенных обид на нас не чувствуете, что с нами познакомились?

Я улыбнулся и сказал: Мир. Конечно, нет. Пусть и губернатор знает, что я никакой обиды на него не чувствую.

— И я смею вас уверить, — продолжал он, — что его превосходительство губернатор относится к вам в высшей степени сочувственно, он только, конечно, удивляется вам — и сказал мне такую фразу: что ему совершенно непонятно, как я, человек из такой семьи и такого образования, могу находить удовлетворение в жизни среди грубого народа, — что для него это непонятно, но, во всяком случае вы можете быть уверенным, что с его стороны никаких препятствий вам в вашей жизни не будет. Вы произвели на него самое лучшее впечатление, когда он был у вас. О чем он мне тоже сказал.

Не совсем-то я поверил этому, а даже глядя на восторженность исправника подумал, как бы он и мне и себе не повредил такими своими чувствами перед губернатором, — но ничего не сказал, а только я радовался его простоте и любви.

Паспорта, оказывается, он мне выдать, пока дело не решено, не имел права, но задерживать в уезде тоже не мог. Поэтому решил мневыдать удостоверение в моей личности. Предложил мне, чтобы с меня снял брат Матвей фотографию, — и на фотографической карточке он надпишет за своей подписью и печатью — что снятое на ней лицо и есть именно я. Я согласился на это с условием, что негатив будет уничтожен. Так и сделали, но для этого пришлось остаться лишний день в Данкове.

Я ночевал у него. Вечером к нему пришел какой-то знакомый

из города — и долго неслись из его кабинета тоскливые и заунывные граммофона, и так мне было в эти часы грустно и больно за него, за его печальную и унылую одинокую жизнь — в которой так, очевидно, мало ему радости, что и граммофон и слова его величество, его превосходительство и курево его еще могут радовать, что даже не раз чувствовал, как слезынавертываются мне на глаза, когда убегал в его садик, стараясь уйти от давящей душу музыки, — и молился Богу, чтобы Бог скорее приблизил его к Себе и всех таких, как он, хороших, простых и чистых людей в образованном обществе, не ведающих, что творят.

На другой день утром — опять угощение.

Александр Сергеич рассказывал мне, что ему надоела служба, что он хочет уйти в отставку, а летом взять отпуск и съездить непременно в Саров[37] — что он давно уж поклонник и почитатель старца Серафима[38]. Потом рассказывал мне про «графа Толстого».

— Нет, знаете, мне он совсем не понравился. Я могу поклоняться его великим и гениальным произведениям, которые читает весь свет, его романам: Война и мир и Анна Каренина — ну а как человек, он не вызывает во мне никакого сочувствия…..

Он оказывается знал его и лично. В 1891-92 году — граф Толстой ездил по нашему уезду, раздавая помощь голодающим, а он был тогда становым приставом в уезде и по долгу службы сопровождал его.

— Ну вот я пришел к нему, чтобы познакомиться с ним. И говорю ему, разумеется, что-то вроде того: Ваше сиятельство, я, как давнишний поклонник и почитатель ваших великих произведений, очень рад лично засвидетельствовать перед вами свое удивление вашим великим талантом и оказать вам содействие по вверенному мне стану — по вашему доброму деоу — а он мне на это ответил, и даже как-то процедил: А я считаю эти свои произведения, которые вы называете великими, дрянью и очень жалею, что они были написаны мною.

— Ну позвольте, ну можно ли так выражаться про действительно великие и гениальные произведения свои, и потом, позвольте, я не поверю, чтобы он это искренне сказал. Мне показалось, что он это только так говорит. Но меня он сразу расхолодил этим. А потом еще говорит мне. Я тогда заблуждался и не знал, в чем мое призвание, а теперь я нашел его и одну только вещь и хочу еще написать. Хочу стереть пыль веков, накопившуюся на вечных истинах Евангелия…..

Даже и теперь Александр Сергеич возмутился весь — повторяя эти возмутившие его тогда слова — и с пафосом

продолжал.

— Но позвольте же, ведь уж это переходит всякие границы. Открыто говорить про себя, что хочу стереть пыль, веками накопившуюся на Евангелии. Может быть, действительно там в Евангелие закрались какие-нибудь искажения и ошибки в передаче, это ученые могут разобрать, но чтобы один человек мог про себя так сказать, хочу стереть пыль веков….. и еще сказал: я нахожу, что Евангелие никто не понимает и что все христианство на протяжении всей своей истории учило совсем не тому, чему учил Христос, — и что он чувствует призвание свое открыть всем[39] на это глаза.

Он встал и прошелся по комнате.

— А потом….. Ну графиня Софья Андревна, графиня его дочь тут была….. Меня пригласили к завтраку — это было тут у одного помещика. И к нему в это время приехал сюда же какой-то его почитатель и поклонник из Англии, англичанин….. И представьте себе, он выходит к завтраку, здесь и графиня Софья Андревна и графиня его дочь, и он выходит в дезабилье, так и выходит и садится со всеми, и граф ничего не говорит ему. Я возмутился. Помилуйте, ну я понимаю, вы надели на себя мужицкую сермягу, потому что живете среди простого народа, не хотите от него ничем отделяться. Но чтобы садиться при дамах с графиней девушкой в одном белом, так таки в одном белом без ничего, грудь расстегнута, руки голые — это ведь уж просто неприличие. Неужели это толстовство и он этому учит….. А еще англичанин и приехал к нему, кажется, из Сибири и в первый раз, ехал в Лондон…..

Не знаю уж, какой англичанин в каком дезабилье садился при Льве Николаевиче и с графинями за завтрак, но не мог я удержать смеха при возмущенном рассказе брата исправника об этом и не знал, что сказать ему, только грустно мне стало, что неужели и кончина Льва Николаевича не переменила его отношения к нему и не произвела на него никакого впечатления. Ведь скончался Лев Николаевич в его уезде — и он был там в Астапове все время, но и сейчас же понял, что там был его превосходительство губернатор в это время, там была графиня Софья Андревна и другие графини и графы и князья. Как же ему за всем этим блеском заметить то, что там происходило в закрытой от него и от всех комнате Льва Николаевича, да и был-то он ведь у своего начальства, конечно, на побегушках…..

Он вышел в свою комнату, чтобы одеться и идти на службу. А брат Матвей стал мне опять рассказывать про него как и тогда, что уж такого исправника другого, как его барин, не будет — но что он очень хочет уйти в отставку, только не знает, дадут ли ему

теперь пенсию, и хочет обратиться к моему деду с просьбой, чтобы тот о нем похлопотал. В это время пришел кто-то на кухню. Матвей вышел. Какая-то женщина пришла о чем-то просить исправника.

— Уж эти женщины, не может наш барин видеть их слез….. Объяснял он мне вернувшись.

Еще кто-то позвонил на парадной.

Молодой блестящий и франтоватый пристав 1-го стана, только что назначенный, заехал зачем-то к исправнику. Его провели в кабинет. Но Александр Сергеич вышел сначала к женщине. Она оказалась женой какого-то мелкого воришки, уже не в первый раз судящегося за кражу.

— И сапожник хороший и работать может. А вот, всё пьянствует — пропьет всё, ворует — и в тюрьме всё — жену бьет — и ребят трое. Объяснял мне про него брат Матвей.

Так вот его посадили в тюрьму опять. Жена пришла просить исправника, чтобы он разрешил ей передать в тюрьму мужу сапожный инструмент — и работу.

— Хоть работал бы там окаянный, хоть что-нибудь бы заработал на меня — а то ведь мне с голоду от ребят малых и не отойти никуда, — заливалась женщина, и как мне показалось, не совсем искренно.

Их я не видел, а только слышал голоса.

— Ну и что же. А я-то что же могу тебе сделать, — растерянно говорил исправник — и советовался с Матвеем, чем бы ей помочь. Матвей тоже не знал, что посоветовать своему барину. Сапожник, оказывается, с помощью своих инструментов раз бегал из тюрьмы, и теперь уже начальник тюрьмы ни за что уж не пропустит их к нему.

— Да и он ведь такой фанфарон — он и меня ни за что не послушает. Я не могу его просить об этом, — заявил откровенно Александр Сергеич.

Женщина была удалена на время на кухню, а к совету был привлечен и становой. И не видя их, я живо представлял себе его презрительность и растерянность перед своим начальником, недоумевавшим, как поступить с такой просительницей, — так и казалось, что вот скажет: ее бы в шею.

— Да ведь это же известные мошенники! Я их сам знаю! Что вы Александр Сергеич, так убиваетесь из-за них. Ну дайте двугривенный.

Александр Сергеич хотел дать 5 рублей. Матвей предлагал дать целковый — в конце концов договорились на 3-х рублях — но чтобы сказать ей, что это дается только ради ее детей, а не ей и ее мужу. Но трех рублей не оказалось, и Александр Сергеич,

стесняясь, чтобы не видел становой, — и без него — дал полузолотой — сказав, чтоб Матвей скорее ее отпустил. Потом уехал со становым на службу.

Брат Матвей, оставшись со мной, опять рассказывал про своего барина, рассказывал, что Бабин продолжает ему все писать кляузы на него. Раньше Александр Сергеич боялся его, потому что генерал он все-таки — его превосходительство — а теперь уж и не боится и не верит ему. Ах опять, Матвей — это кляузы на брата….. и читать не станет…..

Через месяц после этого я вернулся из Петербурга, но остановился сначала не в том селе, в котором жил до этого времени, а в другом верстах в двадцати. Но к рабочей поре собрался восвояси. Мысль о брате Александре Сергеиче все время не покидала меня — и помня его желание посетить летом моего деда — когда тот приедет в свою усадьбу, и я думал там встретиться тогда с ним — и даже думал подготовить деда к его просьбе, с которою он мог к нему обратиться и помочь ему этим выйти в отставку, в то же время и узнать от него о дальнейшем движении моего дела, о котором по-прежнему все еще не было ни слуху, ни духу. Было уж начало Июля, я пошел из своей деревни в усадьбу к деду повидаться с ним и с другими кровными. Но разговаривая с дедом, так ничего и не сказал ему об брате исправнике, что хотел, — как-то не подошло к этому слово, и сам не зная отчего это. даже пенял на себя, когда вышел от деда, что не исполнил такого маленького дела любви по отношению к любвеобильному Александру Сергеичу — и еще милее и дороже стал он мне с этой минуты, потому что почувствовал свою вину перед ним, — но через два дня узнаю, что Александра Сергеича вдруг не стало. Что он ночью скоропостижно скончался. Так неожиданно это было, что сначала не верилось. Но слух подтвердился. А еще через несколько дней вдруг приезжает ко мне урядник и сообщает, что завтра повезет меня в Данков, что опять пришла бумага, меня требующая в комиссию. Я в это время как-то совсем этого не ждал — и так был застигнут этим врасплох, что совсем растерянный и унылый ехал в Ильин день во бричке с урядником в Данков — и не знал, где в себе и на чем остановиться, чтобы встретить то, что теперь ожидало….. и все переменилось теперь. С братьями, которые к этому времени и забыли уж думать о моем деле, так невероятным казалось им, чтобы меня забрали — что и проститься я не успел, а в Данкове не было дорогого и милого Александра Сергеича….. В участке, куда меня привезли, — уже был новый исправник. Городовые еще по старой памяти обращались со мной ласково дружески, но перед новым начальником уже подтягивались….. Уныло, мрачно

и бессмысленно казалось мне все, что теперь предпринимали против меня. — Все потускнело кругом. В таких мрачных мыслях сел я на табурет в участке в помещении городовых. Они тут же толпились кругом, и здесь же стоял стол полицейского надзирателя. Он сидел за ним и подписывал какие-то бумаги. Приходили люди по своим делам, грязные стены, грязные бумаги, спертый воздух, курево, ругань, все сжимало сердце до мертвой тупой боли. Захотелось вырваться на волю, сходить на квартиру покойного….. Я подошел к столу — проситься — поднял случайно взор на стену перед собой….. вот портрет покойного исправника, фотография Матвея….. он среди городовых — вот на медной шпильке наколоты полицейские повестки и бумажки, и вдруг я так и замер от удивления….. глазам не поверил — поглядел опять. Что же это такое. Гляжу….. Не может быть ошибки — оно, оно полностью тут. Откуда же. Зачем. Самые невероятные, самые невозможные мысли замелькали в голове… Но я уж понял все….. Отошел, закачался….. весь мир отступил от меня. Не видел больше ни стен, ни городовых, ни надзирателя. Сел опять на табурет….. Она, она была со мной, сестра Маша![40] Когда я и не думал о ней, и забыл ее, и не вспомнил ее….. в унылые и мрачные часы. Она пришла сама напомнить мне о себе, сказать мне, что она есть, что она не покидает, не забывает меня. Чтоб я не унывал, не падал духом, а верил бы в нее.

Ее имя, отчество и фамилию прочел я полностью написанные карандашом на бумажке, приколотой на стенке. Так удивительно это было. Ничего кроме ее имени на ней и не было. Опять и опять подходил я к стене и читал эти три слова. Ужели же это не чудо. Потом я догадался, что это имя ее однофамилицы, — и даже впоследствии и достоверно узнал, что есть в Данкове девушка с ее именем. Но разве это-то и не есть чудо, что именно в этот день они были написаны на бумажке и приколоты к стене и что я, подойдя к стене, и поднял взор свой на нее — а мог бы и не поднять. Теперь я знал: ее невидимая вечно бодрствующая надо мной рука с любовью ко мне управляла ничтожными движениями других людей, безразличными для них, чтобы меня укрепить и порадовать в этом. Она же — подняла мои веки и мои глаза на бумажку….. И никто этого не видел, никто не догадывался об этом. Так все полно тайны кругом, все полно присутствия невидимых светлых, оберегающих каждый шаг наш.

С трудом отпросился я у нового исправника и у помощника его на квартиру покойного Александра Сергеича, а там сидел как зачарованный присутствием невидимых вечных сил Божьих….. Сестра Маша была со мной и он был тут же, очищенный смертью. Брат Матвей встретил меня со слезами — рассказывал о нем как

убитый. Они съездили весной к Серафиму Саровскому. Его барин был очень доволен, что он это исполнил. Он давно к этому стремился, и брат Матвей был рад за своего барина, что это так хорошо случилось перед самой его смертью. Там они и поговели и попостились. Только не понравилось ему — там — что обирают народ, все деньги, деньги плати[41]. Ведь это так только народ обманывают? Спрашивал брат Матвей. Потом вернувшись оттуда, его барин к службе уж не хотел возвращаться. Отпуск взял себе до осени — а осенью хотел и вовсе выйти в отставку — поселиться в своем маленьком именьице. Собирался к моему деду. Но тут непогода, немножко ему нездоровилось, все откладывал — только и виду не показывал, что был очень болен. Но вечером перед роковой ночью брат Матвей не знал, чем его угостить, ничего не ел — да еще сказал: Эх — Матвей, если бы ты знал, как мне неможется сегодня, и не глядел бы ни на что. Раньше ушел спать.

А утром брат Матвей понес ему кофей к постели как всегда — а он уж и похолодел. Сидит на постели, ноги босые спустил — и одним бочком на подушку навалился. Правая рука сложена крестным знаменем — видно перекреститься хотел. Доктора говорят, грудная жаба у него была. На похоронах весь город был, плакал. Губернатор был. Бабин речь говорил. Такого исправника уж не было и не будет уж, все говорят. Кто-кто ему не должен. Он каждому городовому, каждому стражнику — из своего жалования деньги вперед давал на обмундировку, когда кого принимал на службу, кому 50 руб., кому 70. Уж так пекся обо всех, лучше отца родного. А себе-то ничего не припас — на похороны 30 рублей после него не нашли тут. Губернатор на свой счет их принял.

— А что правду говорят, — вдруг спрашивает меня Матвей, — что умер человек так и нет ничего. Я вот боюсь и ничего не знаю. Где же это теперь душа Александра Сергеича?

— Да она тут сейчас с тобой, — говорю я.

— Да вот и я боюсь, а ну как он придет вдруг ночью. Боюсь теперь на дому один оставаться.

— При жизни его не боялся, почему же теперь его боишься, — удивился я.

Матвей ничего не сказал. Молчал и я.

В кабинете Александра Сергеича на столе — посмотрел его разбросанные бумаги. Вот письмо к нему обо мне — Бабина. — Прочел невероятные совсем вещи в нем про себя — и про мой разврат, угрожающий пагубой целым двум приходам. Потом черновик секретного доклада обо мне исправника к губернатору. Исправник меня берет под защиту и доказывает, что верить Бабину нельзя….. Потом его просьба и губернатору. За один месяц, оказывается, получил он два замечания от губернатора,

что живут у него два еврея, не имеющие права жить за чертой оседлости. Он оправдывается и доказывает, что они имели право жить по неясному смыслу какой-то статьи, — и просьба, не будут ли эти замечания иметь влияние на его пенсию, которую ждет после многолетней безупречной службы вот теперь осенью. Как его это должно быть заботило? Но и это все оказалось ненужным. Не дождался и пенсии.

Часть третья
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВ. ДУХА

1917 года 4-го Ноября суббота

Сегодня минул год, как я грешный р<аб> Б<ожий> Леонид с Соней[42] и тетушкой Нат. Яковлевной Грот приехал в Оптину пустынь[43]. Мы приехали туда ночью и вошли в номер, заботливо приготовленный нам О<тцом> Мартинианином по телеграмме Нат<альи> Яков<левны>. Жутко, чудно и странно мне было после почти 20-летнего отступничества вступать опять в храм Божий, прикладываться к св. иконам, класть на себя крестное знамение, но судьбы Божии непостижимо таинственны и чудо Божие свершилось. Я тот, которому когда-то Лев Ник<олаевич> Толстой писал, что он полюбил меня больше, чем хочет, и что не перестанет меня любить даже тогда, когда я изменю себе, — я изменил Льву Ник<олаевичу>, я перестал быть Толстовцем, я уверовал во Христа и Его Пречистую Матерь и со страхом Боиим и благоговением приобщался Святых и страшных Христовых Тайн и почувствовал возрождение жизни. Вот уже год — как я по воле Всемогущего Бога и по молитвам святых старцев Оптина Батюшки отца Анатолия и других — а также покойного отца Иоанна Кронштадтского, (есть данные мне думать это) — я — православный. И случилось это мое превращение накануне страшных потрясений, долженствовавших посетить Россию и всех нас за этот 1917 год. Сегодня проводили в Данков раненого пулей навылет в голову в своем имении в Гремячке — моего брата Рафу[44], раненого 2 недели тому назад, а 2 месяца тому назад разбушевавшаяся революционная толпа — чуть не растерзала его и меня и только чудо Божие спасло его от неминуемой смерти, а может быть, и меня. Сейчас уже больше недели у нас нет известий газетных, мы не знаем, что делается во всем мире, — и только слухи, что в Москве страшное кровопролитие. В эти дни, где упование, где прибежище — радость, кроме как св. православная церковь. Что бы делал я весь этот год, среди всех внутренних браней своих и внешних, ужасающих событий, если бы я не был православный и не знал бы руководства старца О. Анатолия….. Так дивен многомилостивый промысел о нас Господа нашего Иисуса Христа…..

Ему подобает честь и слава со безначальным Его отцем и Св. Духом и ныне и присно и во веки веков, аминь.

5-го Ноября 1917 года

Событие, о котором я упомянул, с братом моим Раф<аилом> Дмит<риевичем> произошло так: 19 Октября утром он приехал за своей семьей из Данкова, чтобы перевезти ее в Данков. Утром рано пришел пешком со станции Урусово, и я утром пришел к нему, чтобы с ним повидаться, часов до 2-х я был у него. Он рассказывал новости из Данкова, все больше тревожные, о возрастающих всюду беспорядках и о все большем и большем влиянии на народ большевиков. Часа в 2 я пошел от него пешком к себе, а он хотел проехать в Надеждино, где находился помощник начальника милиции и конные войска, оттуда Терский (член крест<ьянского> Банка) только что бежал с семьей, а крестьяне рубили лес и собирались, кажется, громить имение. Мне что-то было беспокойно за брата. Я знал настроение крестьян, предупреждение с их стороны, что его убьют, которое слышал, когда сидел с ним вместе в волостном правлении в каталажке, в ту памятную ночь 11 Сентября, когда его, а за ним и меня чуть не растерзали. Последние 2 недели, до 19-го, крестьяне трех деревень рубили наш лес, вокруг меня. Брат хотел заехать и в лес посмотреть порубку. Я сам ему говорил, что опасности в этом нет. Но когда сам пришел в лес, то затревожился почему-то смутно и безотчетливо и пошел в сторожку к Якову беженцу, мимо которой он должен был проехать в Надеждино, чтобы его еще раз повидать и предупредить, чтобы он был поосторожнее. Но я уж опоздал, он проехал. Соня все тревожилась о Гремячке, что я ее туда не пустил. Я читал жизнь Георгия Затворника Задонского[45]. Часов в 9 мы помолились общей молитвой. Я с Соней ушел в горницу и по своему обыкновению еще молился перед сном грядущим любимым угодникам Божиим и поминал перед лицом Божиим всех близких, как услышал лай собаки. Не кончив молитвы, я вышел на крыльцо. Кто-то подъехал. Подъехал Яша, кучер брата, на дрожках, на белой лошади, из имения и тревожно сказал на вопросы, что и зачем, что с барином несчастие. Кто-то стрелял и ранил барина, «кажется» в руку. Я сейчас собрался туда с Соней, на своей лошади. Подъезжая к усадьбе, увидел в двух повозках подъезжающих солдат и милицию. Подъехал с ними председатель волостного земства Шмаров. В первой комнате в каменном флигеле солдаты и лужа крови на полу буфета. Во второй комнате на Зининой[46] постели лежал высоко, весь окровавленный Рафа — уже кое-как перевязанный Зиной и громко кричал: «Господи помилуй, Господи помилуй, помогите родные, помогите дорогие». И еще с какой-то особенной силой выкрикивал: «Господь мое прибежище и сила. Господь моя сила». Зина стояла у его изголовья. Она наскоро сказала, что ранен он в голову, но что она раны еще не

разглядывала, думала сначала, что он убит, но вот он через полчаса заговорил. Я спросил, был ли доктор, она сказала: еще нет; да все боятся ехать….. Я сказал: «я поеду. Надо скорей за доктором». Тут выходя, чтобы ехать за доктором, не помню, сам ли я сообразил что, или Зина мне сказала: что стреляли Рафу в окно. Одна пуля промахнулась, вторая попала. Я с Шмаровым, на первой попавшейся лошади, это оказался жеребец Голубь, поехал на шахту за пленным доктором, австрийцем. Когда ехал уже назад с шахты, и доктор со мной на своей тележке, я затревожился, что не вспомнил в первую же минуту о священнике, и решил за ним сейчас же заехать. Но посоветовавшись со Шмаровым, обдумал послать за священником тотчас же по приезде с доктором в имение, иначе некому будет присутствовать с доктором при первом осмотре Рафы. В 1 час ночи мы были у Рафы. Доктор взял пульс и тихо, чтобы не слышала Зина, спросил меня по-немецки, был ли священник. Он слышал, что я хотел за ним заехать. Я сказал, что еще нет. Он сказал, что опоздали, или если хотим приобщить Рафу, то чтобы сейчас же послали за ним, ибо боится, что Рафа уже не проглотит причастия, Зина этого не слышала, но тревожно стала спрашивать, о чем мы говорим. Я не отвечал ей, скорее вышел в соседнюю комнату, где сидели милиция с солдатами и составляли протокол и просил кого-нибудь скорее ехать за батюшкой; вызвались солдаты. Доктор пробовал спросить Рафу, узнает ли он его. Но Рафа. навал. Dann muß rasch energisch anfangen[47], - сказал доктор и быстро с моей и Зининой помощью поднял Рафу. Вдруг Рафу стало рвать кровью Ah, es ist schon gut[48], - сказал доктор. Оказывается, упадок пульса и холодные ноги были у него от приближавшейся тошноты. После рвоты пульс стал восстановляться, и доктор нас утешил, что «это хорошо», сказал он со своим ломанным произношением. Он разрезал ножницами повязку, положенную Зиной, и при свете осмотрел раны. Оказалось их две. Одна в щеке у левого уха, другая в виске у правого глаза. Пуля прошла навылет. Рана тяжелая, но о степени ее опасности еще сказать нельзя, Рафу перевязали, раздели. Дали ему валерьяна с чем-то. Он перестал кричать, успокоился, уснул. Доктор сказал, что теперь надо до утра его оставить. Утром смерить температуру. Если жара не будет, то надежды на жизнь еще не потеряны. Добрый, участливый доктор! как благодарил я его в сердце, за его спокойное, деловитое и энергично-нежное обхождение с раненым и с нами. Он немец из какого-то австрийского города — уже четвертый год в плену. У него чистые аккуратные комнатки, я был у него в 12 час. ночи, в этот день лечил он пленных

австрийцев на шахте. Провожая, мы дали ему 5 руб. После доктора подъехал батюшка О. Иоанн, но один, и первым долгом спросил, сам ли больной пожелал причаститься. Я сказал, что он сейчас без сознания. Но я знаю его всегдашнее настроение; батюшка перебил, что он это знает, но что ему важно, может ли он сознательно сейчас исповедываться? Я сказал: вряд ли. «Тогда надо было бы его пособоровать. Соборовать можно и бессознательного», — объяснил батюшка, «только вот жаль, я никого не захватил с собой, приехал один». Я был этим так опечален, что не знал, что делать. Я наклонился к Рафе и стал громко его звать. Рафа узнал меня. Я спросил его: Рафа, хочешь ли причаститься, вот батюшка тут приехал: «Да, зачем, после, я тогда сам позову», и сейчас же забылся. Бытюшка нашел выход и спросил: «можешь ли ты ручаться, что он до утра проживет». Я сказал, что доктор говорил, что до утра проживет. «Тогда лучше всего я утром еще раз приеду. Если будет в сознании, мы его приобщим, а если уже не придет в сознание, мы его пособоруем. Но тогда утром опять пришлите за мной». Мы так и решили. Батюшку проводили и попросили его послать телеграмму родным, которую я тут же составил на имя дяди Андрея Петровича, боясь потревожить неожиданной вестью родителей. Телеграмму следующую: «Рафа ранен выстрелом голову Гремячке. Леля». Батюшка уехал, а в соседней комнате сидели солдаты и милиция и писали протоколы. Шмаров — председатель земской волостной управы, ездивший со мной за доктором, заснул в кресле. Хотя он, по слухам, один из крайних революционеров, но кровь, ночь, крик раненого на него очень сильно подействовали, и как я ехал с ним за доктором, он 2 версты не мог прийти в себя. Потом он немного на мои усилия заговорить с ним — разговорился. Он оказался фабричным, кажется на каком-то заводе. Сюда давно приехал и вот попал в председатели управы. Он уже защищал брата от разъяренной толпы 11-го Сент. и мне напомнил об этом. В последнее время, когда управа разрешила крестьянам чистить лес, а чистка леса превратилась в хищническую порубку, он ездил по деревням и строго приказывал: только чистить, просил, уговаривал — и грозился вовсе закрыть управу и от всего отказаться, если они его не послушаются. И мне он об этом сказал, что с народом ничего не поделаешь, что очень трудно сейчас занимать какое-нибудь ответственное место и что он хочет уйти из председателя….. Спросил, как я ему посоветую? Я сказал — что я не советую ему уходить, что какая-нибудь власть да должна же быть над народом….. Он, кажется, остался моим ответом доволен. Наконец уехали и милиция со Шмаровым. Они все время курили тут рядом

же с комнатой Рафы, но я уже в это не вмешивался. Кто хотел Рафу убить, еще неизвестно. Стрелял кто-то в окно. Рафа стоял в профиль у окна. Занавеска была спущена, но один бок ее немного отворачивался. Зина сидела против него у стола. После первого выстрела у Зины успела мелькнуть мысль, что это их только пугают. Но от второго выстрела Рафа упал как сноп на пол: Зина тотчас выбежала на крыльцо. Но никого уже не видела, хотя была светлая, лунная ночь. Стрелявший, наверное, скрылся в кустах — которые теперь уже вырублены. Солдат, ездивший с Рафой в Надеждино, показал, что когда они подъезжали к гумну, то у амбаров видели какого-то поджидавшего их человека. Он сказал об этом барину. Барин велел ему ехать скорее; не успел он доехать до конюшни от дома и убрать лошадей, как раздался выстрел. Он побежал к дому, но никого уже не видел.

Только теперь, когда все ушли, — мог я немного дать волю своим чувствам. Поцеловал в голову Зину, прижавшуюся ко мне, всю взволнованную, пережившую больше всех весь ужас происшедшего. Подошел и к кроваткам детей. Они не спали и молча все слушали и видели. Подошел к Рафе, поцеловал его в его окровавленную голову — вся жизнь его — промелькнула перед моими глазами: как он и я были мальчиками, почти сверстниками, вместе росли, учились, играли….. - теперь он спал, то стонал, то вздрагивал, надо было все время быть около него и следить, чтобы он не спалзывал головой и держать ее высоко и прикладывать к ней лед, как велел доктор. Кроме того, все было еще в крови. Вся стена в крови, три одеяла, шуба, — я никогда еще не видал такой раны и такой массы крови, но ни отвращения, ни страха не чувствовал — и за это благодарил Бога. Все премудростью своею создал Он. — Теперь стал молиться о Рафе, о всех нас. В какое страшное время мы живем. Где прибежище? Где покой? Что бы сделали мы без веры? Господь наше упование, Господь наше прибежище, Господь, помоги нам.

13-го Ноября 1917 г.[49]

Едва успел я с великими затруднениями Рафу и Зину с детьми перевезти в Данков, как узнал вчера о кончине папы. Папы не стало 1-го Ноября, но целых 12 дней мы ничего не знали, и до сих пор я не имею никаких прямых сообщений об этом из Петрограда. Но тете, Нат<алье> Яков<левне>, написал ее брат дядя Костя и ее сестра тетя Ляля. Папа скончался от удушьев астмы 1-го Ноября, уже 5-го его похоронили. Когда Аречка[50] приехала сюда, 26-го Октября, она рассказывала про папу, что папа сначала спокойно и вроде равнодушно принял известие о Рафе, но потом вдруг у него сделался припадок, хотя легкий.

Припадки грудной жабы он нажил уже лет 7 тому назад, при постройке нового каменного дома в Петрограде, чем он очень увлекался. Тогда доктора предписали ему полный покой, запретили куренье и многое другое. Что он не все конечно исполнял — но причины, конечно, не эти — причина — воля Божия, святая и всевышняя, взять к Себе его душу. Аречка рассказывала, да и по письмам его это видно и вообще я это знаю, он очень волновался событиями и судьбой России. В последнее время углубился в записывание своих мыслей по поводу происходящих событий, о чем сообщал в письмах Рафе. В последних письмах его, особенно ко мне, звучала и встала замечательная и трогательная религиозная струна — о преданности воле Божией, о промысле Его в делах исторических….. Замечательны его смиренные замечания о себе — как о самом обыкновенном мирянине, могущем похвалиться разве только тем, что ничего особенного от общепринятой морали он не делал….. Какая скромная и смиренная оценка. Дорогой папа….. меня радует, что в последнее время между мной и им было полное примирение. Он благословлял меня на мой новый путь. Он даже слишком переоценивал его и меня в нем. Он оставил нас в самые тяжелые дни — какие когда-либо переживала Россия и в ней наша, вышедшая от чресл ее, семья. 1-го Ноября разгар большевистОкого восстания в Москве и по всей России….. Здесь раненый Рафа, которого мы бережем от новых покушений, и как отсюда увозить. Аря здесь. Сношений с Петроградом нет — нет ни писем, ни газет. Миша[51], третий сын папы, — больной и контуженный на войне (больной, убитый от сиденья в окопах) в далеком городе, в Вологодской губ. на отдыхе. Коля[52] — неизвестно где в Америке. Послан туда, как морской офицер, и с мая нет от него ни слуху, ни духу. Шура[53], тоже больной от похода, в лазарете в Царском Селе. Около папы была одна Верочка[54], мама и старая наша верная няня Аннушка — не знаю приобщить ли папу. Это меня очень волнует — но царство небесное ему дорогому, спи тихо и мирно, скромный труженик и кроткий, прекроткий человек. Он скончался 63 лет.

Вместе с этим известием пришли наконец из Москвы и Петрограда первые газеты после 2-хнедельного перерыва. Всюду хаос, массовые убийства, братоубийственная война, развал единой России на многие отдельные республики, отсутствие всякой власти, анархия, надвигающийся голод. Варварский погром Москвы, ее святынь, ее кремля, ее Успенского собора. На этом фоне — один только луч, одна отрадная точка: Всероссийский православный собор….. В трагических обстоятельствах, в дни самого страшного, кошмарного своей

бессмысленностью братоубийства в Москве — он единогласно (необычайное единодушие) постановляет возглавить Св. Православную Российскую церковь — патриаршеством и немедленно приступить к избранию патриарха. Богу угодно было, чтобы, из трех избранных собором кандидатов, жребий пал на митрополита Московского Тихона. Он теперь патриарх. Да благословит его Господь, да поможет Господь св. Церкви стать опорой для мятущейся, страждущей, смятенной России, как это бывало уже не раз в ее истории, как это было в мутное время[55]; Ему же слава, честь и поклонение подобает за все, во веки веков, аминь.

14-го Ноября

Господи, прости меня. Грешен я, так грешен, что и сказать не могу. Немощен. Раздражительность свою не умею покорить. Чего не хочу, то творю. Всегда Тебя прогневляю и пречистую Твою Матерь — злое творя, Господи, Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас грешных!

Сегодня Пав<ел> Мих<айлович> в ответ на мое извещение о кончине папа написал: «За дорогого покойника радуюсь». Пав. Мих. сам старик, ему 70 лет, живет с глухонемой своей женой. Все имение у него разобрали и отобрали крестьяне. Дом сожгли. Сожгли его оранжерейку — его постоянную безобидную страсть сажать и выращивать различные цветочки. — Он вряд ли верующий, т. е. по православному, и к нашему общему горю, давно не был у исповеди — он пишет: «за дорогого покойника радуюсь…..» Не знаю, как он представляет себе участь «покойников», но его слова все-таки знаменательны. До нашего времени люди его образа мыслей и стремлений жизнь на земле ценили, любили — …..но мы живем в такое время, что и неверующим по-христиански остается только завидовать покойникам, не скоро просвет: слухи кругом все темные, что надо резать господ и буржуев, — что вот-вот этот час придет, но Господь милостив….. Господи, упаси нас.

16-го Ноября 1917 года

Подробности о кончине папы из письма Верочки: папа в день 31-го Октября, накануне своей кончины, окончил свою работу — очерк о революции, о которой сообщал нам в письмах и которой, по словам Аречки, очень увлекался. После этого прибрал свой кабинет, и на столе все прибрал очень аккуратно. Это очень замечательно, никогда он этого не делал. Вечером очень желал видеть кого-нибудь из своих братьев. Точно предчувствуя свою кончину, но никому этого не говорил. Вероятно, это и так.

Вероятно, и просто физически это чувствовал, что возможен с ним припадок, про исход которого рассуждал, что он может оказаться смертельным, о чем и хотел, может быть, подготовить своих близких, боясь в то же время их огорчить своим предчувствием. Вечером были гости Ольхины, из братьев его никто не мог прийти. В 8 1/2 час. вечера с ним вдруг сделался припадок. Послали за доктором. Вспрыснули камфору, но уже ничего не помогло — и в 2 ч. 20 мин. ночи он тихо скончался. Папа всю жизнь был кроткий, тихий, мягкий, уступчивый человек. Всегда чистой душой стремящийся, по мере сил своих и своего разумения, принести пользу родине.

21-го Ноября 1 час ночи

Только что вернулся на лошади из Данкова. Ездил повидать Рафу, Арю, Зину; с ними помолился о папе и говел.

Говел в Данковском монастыре и там же остановился у отца Архимандрита Василия. Монастырь бедный, каменный. Основатель его схимник Роман, по фамилии Теленов. От Иоанна Грозного пострадал и ударился в леса, где выкопал пещеру и жил трудом и молитвами. Его мощи хранятся в монастыре. В монастыре все бедно, монахов мало, хор бедный, об этом очень жалеет от<ец> Архимандрит, но и в нем — огонек веры, истинной христианской любви, простоты и смирения. Исповедовался у отца казначея Михаила, у него был в келий. Помоги им всем Господи…..

Рафа на вид очень плох. Он только от меня узнал о смерти папы. Мы все очень хотим жить на земле, но ведь жизнь есть и там, есть, есть.

Господи, помоги нам стремиться к неземному. Сегодня праздник введения во храм Богородицы.

28-го Ноября 1917 года

Я грешный раб Божий, часто бываю раздавлен грехом, как червь раздавленный ночью при дороге. Какая сила в грехе. Какими хитрыми и незаметными путями подходит он к сердцу — и всегда под благовидными предлогами. Какой мрак. Какой ужас.

Слава силе Твоей, Господи, помоги мне. Подыми падшего, восставь раздавленного.

Я не удовлетворен своей жизнью в участке. Когда был толстовцем, я уходил из мира образованного, уходил от того, чем заняты люди образованные, уходил от постоянного занятия своего ума мышлением, мечтательностью, чтением, уходил потому, что эта самая привычка их постоянно думать, мыслить, рассуждать, внутренно спорить с другими, создавать свои теории,

мечты — были для меня как цепи, были как цепи и тяжкие сети для какого-то внутреннего, более глубокого человека, моего «я» во мне, которое я ощущаю в себе смутно. Это «я» билось не удовлетворенное всей той жизнью, которую открывало ему светское образование нашего общества, ни наука, ни искусство, ни общественная деятельность, направленная по теориям этого общества на пользу ближнего и всего человечества, не удовлетворяла какой-то внутренней тоскующей глубины во мне, глубины тоскующей о чем-то высшем, интимнейшем, святейшем, но я бежал от всего, что предлагало мне светское образование, к Толстому. (Как тогда думали другие к обращению себя в простой народ). Это было сознательное действие. Я искал уединения, обращения своего многосложного «я» — в простых телесных трудах, в простой трудовой жизни среди простого трудового народа. Искал времени уединиться, углубиться в себя, найти в себе свое внутреннейшее «я» — и то, чего оно ищет, чем оно может удовлетвориться, то, в чем его жизнь….. и Господь был милостив ко мне. Это долгое искание мое по трудовым и тернистым путям Он увенчал Своим благоволением, незаметно привлекал меня к Себе и откровением Своих тайн о человеке, о Себе и о всем мире. Теперь — это не просто для меня. Это внутреннее «я», которого я искал в себе и биение которого чувствовал в себе, как биение какого-то заключенного во мне, как в темнице, есть то, что святые отцы православной церкви, наученные святым Духом Божиим, называют сердцем человеческим, или внутренним человеком, или духом человека, когда говорят о трех составах человеческого существа — теле, душе и духе. То, чем я не удовлетворялся, это была, во-первых, телесная, материальная жизнь, с детства внушавшая мне некоторую долю отвращения как тупая и душевная (область которой науки, искусства, общественность), которую одну только и знают обыкновенно образованные люди, как высшую — я же искал религиозной жизни, жизни сердца, жизни духа и, благодатью Божией, ее нашел….. научился различать ее, по книгам святоотеческим научился понимать ее запросы, ее борьбу, ее цели и мало-помалу пришел к тому, что удовлетворение этого сердца, духа, мы можем найти только в православной Церкви, только в вере во все то, чему она учит, и в послушании тому, что она велит, — наше спасение, спасение нашего духа, сердца, нашей бессмертной души — которое она здесь уже может предвкушать по милости Божией в таинствах, какие Господь Иисус Христос, пришедший в мир грешные спасти, соблаговолил дать своей Св. Церкви. Ее же врата адовы не одолеют, Слава силе Твоей, Господи.

Неудовлетворенность же моей жизнью на участке, т. е. трудовой, простой жизнью, неудовлетворенность, какая открывается во мне теперь, происходит от того, что, сняв с себя бремя жизни образованного общества, я надел на себя бремя жизни простого, трудового народа, — но и то и другое бремя для жизни духа и сердца. Сердце, найдя свою себе жизнь и источник для нее, ищет ее, хочет ей одной сколько возможно, и ей одной, служить, не обременяясь ничем другим; выход для этого монастырь. Но Господь судит иное. Вот пред чем я теперь стою….. Скоро должно это решиться….. Но возврата к прежнему уже нет.

2-го Декабря 1917 г.

Как дивны, промыслительны, незаметно нежны пути спасения, какими ведет нас Господь. Я замечаю это даже на книгах, какие попадаются мне под руку — для чтения, на всем протяжении своей жизни, какие книги я теперь вспоминаю, которые оказали свое влияние на образование моего внутреннего сердца и именно сердца. Это житие преподобного отца нашего Сергия Чудотворца Радонежского….. В самое можно сказать безобразное время моей молодости, когда стоял я накануне тягчайших падений, вдруг именно эта книга зародила во мне огонек, который — слава силе Твоей, Господи, — не угас даже среди всех моих бурь и жив сейчас. Я был студентом, невером, с каким-то мальчишеским легкомыслием, запальчивостью, нахальством, поехал прокатиться «посмотреть» русскую веру, с высоты своего образованного философствования «сделать свое наблюдение над православным народом», чтобы иметь именно «свои» наблюдения, свои мысли и при случае, в будущем, потщеславиться….. В 1900 году Троице-Сергиева Лавра и Киево-Печерские святыни не оставили на мне никаких впечатлений….. был такой невер, что даже стыдился креститься….. Не отстоял там даже ни одной службы и что делал, теперь не помню. Только захватил на память книжку: житие Св. Сергия Радонежского и с этой книжкой поехал в Киев посмотреть другие русские святыни. Там так же бесцельно, глупо бродил по церквам и храмам, восторгался, правда, но только с художественной стороны Киевским Владимирским собором. Тайная же жизнь сердца была не в этом….. В Киеве напала на меня впервые за всю жизнь (мне было 20 лет и я был девственником) блудная страсть со всей своей неумолимой, ужасающей силой….. Это было ново для меня….. Весна, Днепр, студенты, товарищи, кокотки — все распалило меня до еще неиспытанного каления — я не знал, куда деваться ночью….. но падений боялся. Вот раз ночью в своем номере, в гостинице, я пришел вдруг в ужас от возможного,

блудного падения….. я метался….. Под руку попалась книжка, взятая из Троицко-Сергиевской Лавры, — житие преподобного Сергия, и я стал читать, и вот точно какой-то умный, теплый луч скользнул по моему сердцу. Его воздержание, Его смирение, его подвиги, его молитвы, его видение Богородицы, его постоянная жизнь вдруг точно раскрыла какую-то иную новую жизнь….. Сердце замирало от сладости видения восторга, умиления, покаяния, и на всю жизнь эта ночь врезалась в мое сердце, стала манить к себе, призывать своим тихим, сладостным светом.

Другой раз, когда оставил я образованный мир и поселился в деревне. Жизнь и наставления преподобного отца нашего дорогого батюшки Серафима.

Потом позже Исаака Сириянина. Добротолюбие. В прошлом году — Святитель Феодосий Вышенский, Иоанн Златоуст и теперь «моя жизнь во Христе» отца Иоанна Кронштадтского — вот этапы моего истинного образования. И как целые горы хлама, греха и путаницы отпадают все другие книги, которые я прочел.

Я не говорю, конечно, об Евангелии, Библии и Псалтыре, но вот была одно время любимой моей книгой еще жизнь Франциска Асизского и книга Александра Добролюбова….. «Из книги невидимой». Они увлекали, подымали, будоражили…. но после Добротолюбия, после Серафима их не хочется читать….. Во всем волнении и падении, какое они производили, было что-то болезненное, непонятное желание своих подвигов, а под этим незаметно скрыто желание славы своих подвигов. И этому я долгое время следовал, этому служил — о, как надо быть мудрым, осторожным, как знать сети врага….. Одна только сила Господня способна их различить, разорвать, победить.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас.

3-го Декабря 1917 г.

Что значит веровать в Бога? Бог, Бог….. истина, высший разум — сама жизнь — Первопричина — и вина всего сущего, Тайна — слышим мы в разных религиях учениях и философских системах — но как сухи, пусты, бессодержательны у них все эти слова и определения….. в одной только христианской религии, в Богооткровенном учении ее о Боге Троице, приоткрывается для нас как бы малость завесы о самой внутренней тайне, самой жизни Божества в нем самом. Господи! какая неизглаголанная премудрость Бога Отца — который предает Сына Своего единородного за грехи всего мира и Духом Святым управляет вселенной — все Три они Одно….. я не могу постичь, схватить это своим ограниченным и узким холодным сердцем, но я чувствую здесь непостижимую жизнь Божества, как бы вечную драму Его,

Его вечное действование, которая и есть сама любовь к нам, твари Его, до самопожертвования, до самозабвения….. Одно только это учение и дает хоть намек на самое существо Его недоступной по глубине высоте и таинственности жизни….. Его жизнь есть вечное движение и предвечное или действие любви….. и только учение о Творце, о Боге Отце, о Боге Сыне Искупителе — и Боге Духе Святом и дает нашим немощным умам — хотя бы и малое представление об этой любви как сущности Бога….. Могий вместити, да вместит….. не все вмещают словеса Его.

4-го Декабря 1917 г.

День св. Варвары Великомученицы. Большевики захватили всюду власть, но для меня их власть как сон, что-то не верится ее твердости и продолжительности. Вот, вот все рухнет у них и перейдет их сила, как сновидение.

6-го Декабря 1917 г.

День Святого Николая Чудотворца. Все собираюсь ехать в Рязань к преосвященному Владыке, чтобы он решил мою судьбу, и батюшка Анатолий велит в письмах…..[56] я все не могу собраться, сейчас заболел. Простыл. Вчера совсем плохо себя чувствовал, весь день лежал. Сегодня немного лучше.

7-го Декабря 1917 г.

Благодарю Тебя, Господи, за Твое великое промышление обо мне. Эта болезнь мне на пользу. Даже в первый раз в жизни ясно, ощутительно почувствовал, как болезнь действительно может быть на пользу человеку. За время болезни мог, удалившись от всех мирских дел, лучше сосредоточиться в себе, даже помолиться — и тем приготовиться к предстоящей поездке в Рязань и беседе с Владыкой….. Много читаю эти дни «Путь на спасение епископа Петра», подаренное мне батюшкой о. Анатолием, стихотворения Св. Григория Богослова (необыкновенно живое впечатление от них) — о. Иоанна Кронштадтского и еще кое-что.

Грешный, немощный, пакостный я человек, но нет уныния во мне, нет отчаяния — все надеюсь, не падаю духом, стремлюсь. Знаю — вся жизнь наша — крест и впереди крест — может быть тягчайшим, но на это иду, уповая на милосердие Божие, уповая на заступничество Пресвятой Владычицы нашей Приснодевы Марии, Святого Великого Святителя нашего и Чудотворца Николая, Св. Питирима Тамбовского, Его милостивое снисхождение ко мне ощущаю часто. Верю в помощь Святых ангелов, хранителей наших, Серафимов, Херувимов, Престолов,

начальств, и Властей, всех сил небесных предстоящих Престолу Божию и с радостью взирающих на всякое стремление земнородного к небесному и Архистратига их Михаила — верю в ободряющую силу молитв всех угодивших Богу великих святителей Церкви, Патриархов, архипастырей и пастырей церкви предстоящих ныне престолу Божиему, не оставляющих Церкви и всех в ней, и обо мне грешном до ходит их молитва — до духа Божия, Св. Отца Великого Богогослова Иоанна Златоустаго, Василия Великого Блаженного, Григория Богослова. — Сколь бедственна была их жизнь на земле, разве не знают они и наши скорби и нужды….. Верю в предстоятельство российских, великих чудотворцев и святителей Московского Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена — белгородского, великих, всегда внимательных ко мне, Дмитрия Ростовского и Тихона Задонского, Митрофания Воронежского, Василия Рязанского, Святителя Трифона Святого и Богоносных отец наших Сергия чудотворца Радонежского и Серафима Саровского и всего сонма, как звезд, преподобных, святых, подвизавшихся в пустынных лесах и монастырях, в скитах Афонских, Палестинских, Сирийаких и Египетских. Св. Апостолов и святого пророка и Предтечи Христова и друга Христова Иоанна. Верю в заступничество крови всех мучеников, преподобных мучеников и великомучеников, вверивших себя великими мучениями Царю Христу, Св. Великомученицы Варвары — и Екатерины. Софии, отроковиц мучениц Веры, Надежды и Любви, Св. князей мучеников Бориса и Глеба и Романа Рязанского, святых князей Муромских Петра и Февронии, коих жребий земной особенно близок моему сердцу. Какое богатство путей у Господа. Очи Его на всех боящихся Его, в каком бы положении, в каких бы путях кто из них ни находился. Милостив и милостив Господь, долготерпелив и до конца жив Он и не хочет смерти грешников, но чтобы спастися им и быть живыми…..

Но самая большая моя надежда и упования на Пречистое Тело и Пречистую Кровь Христа Спасителя нашего, на Святейшее Таинство Евхаристии, на это вечное излияние кровью Его любви к нам — Господи, Господи милостив ко мне буди грешному, а я никогда не перестану радоваться, что я стал православным, что я — познал истинную Твою Церковь, что я познал истинный путь Твой и за это славить свято Всесвятое и Трисвятое Имя Твое.

8-го Декабря

Вчера только успел кончить вышеприведенные строки, как узнал, что Павел Михайлович скончался. Я сразу догадался, или почувствовал, что он не мог скончаться сам собою. Меньше

недели тому назад я его видел совсем бодрым, несмотря на его 73 г<ода>, и днем я узнал всю правду. Его убили мужики вечером, или в ночь на Св. Николая Угодника Божия, — злоба, отчаяние, буря кругом все усиливаются. Газет нет. Но слухи не покойные…..[57]

18-го Декабря

Вчера 12-го, ровно через неделю после убийства Павла Михайловича, его похоронили. В бедной убогой деревенской церкви села Кобельша стоял его деревянный тесовый гроб, он лежал, покрытый дешевым полотенцем. Благодаря морозу тело совершенно не тронулось. Все лицо избито. На лбу, с правой стороны, зияет огромный пролом. Вот конец!…. Его хоронили одни бабы. Родные — только бедная глухонемая Мария Ив<ановна> и я. Из Алмазовки мужиков не было. Были только мужики из Кобельши. — Старики, Комитет волостной платил за похороны. Марья Ив<ановна> у мужиков на деревне. Кругом зависть и ненависть. Всякий норовит побольше стащить с нее. Дом стоит с разбитыми стеклами. Последние дни, часы и минуты Павла Михайловича ужасны. Мужики грабили и тащили все, что возможно, кругом и в доме. У Павла Михайловича для охраны было 4 солдата. Но они ничего не делали. По рассказу прислуги, впрочем, — они спрашивали Павла Михайловича, что? стрелять? Но он ответил, «что же вы будете убивать православных, пусть лучше меня убьют». Вечером громилы принялись бомбардировать дом. Вдали было все темно. Солдаты с прислугой бежали. Павел Михайлович оделся в тулуп и сошел с верхнего этажа в прихожую. Марию Ив<ановну> перекрестил три раза, поцеловал, крепко пожал ей руки и объяснил, что идет умирать. Он пошел в кухню, где помещались солдаты, думая, должно быть, укрыться среди них. Но солдат уже не было, и там было человек пять громил. Он успел будто бы им сказать: братцы, не убивайте меня, я завтра уеду. Но они его убили ударом чего-то тяжелого по голове….. Убивал известный разбойник, судившийся ранее за убийство — солдат — терроризующий всю деревню. В это время кругом дома была вся деревня. Мужики и бабы убитого вытащили наружу — громилы стащили с него тулуп, сапоги, вытащили деньги и книжку сберегательной кассы. Мария Ив<ановна> где-то сидела запрятавшись. Только в три часа ночи привели ее бабы на деревню, с трудом, говорят, и ее отбили от убийц. На деревне кто плакал, кто жалел Павла Мих<айловича> и возмущался душегубством, а кто и радовался и кричал «собаке и собачья смерть». Бессмыслица, отупение, озверение, кошмарный ужас бесчувствия. Убит был П. М. в 12 часов ночи. Всю ночь грабили

дом, а утром часов в 11, убийцы, человек пять, приехали ко мне, спрашивать хомуты П. М., которые он летом прислал ко мне спрятать. Я лежал больной. Соня с Гришей были у обедни, я вышел к ним. Я ничего не знал про случившееся. Спросил их, что они оставили П. М.? Они сказали: дом, корову, лошадь. Но не сказали, что убили самого П. М. Народ всегда не любил П. М.; потому что П. М., всю жизнь проведший в деревне, хорошо знал народ и во всех хозяйственных деловых сношениях, — а только такие и были у него П. М. с народом — его, что называется, провести нельзя было. Он знал, можно сказать, всю низость народа. Высокого же сам не знал, потому что был нерелигиозен. Он, как это случилось со всем почти нашим образованным, культурным обществом, — религиозные идеалы заменил себе какими-то смутными, туманными идеалами европейской культурности, — цивилизации и в лучшем случае гуманизма. Выращивание оранжерейных цветочков и редких растений в нашем климате, разбивка сада, ласкающий культурный взгляд европейца, путешествие в Италию, Сардинию, Тунис для наслаждения тамошней природой и рассуждения о бедности и некультурности русского народа — о его лени, зависящей от климата, о его продажности, грубости — о неумении русских властей править по-европейски — об убожестве и низком уровне образования: в духовенстве сравнительно с католическим, вот и весь его обиход жизни. Трогательным в его жизни была любовь его к своей глухонемой жене. Особенно последний год жизни эта любовь, нежная, пекущаяся о ней, доходила до настоящего высокого самоотвержения. Но как чужды и непонятны должны были быть все стремления и идеалы (если только можно назвать идеалами смутные отрывки каких-то европейских идей, и особенных наблюдений над жизнью) от всего, чем жив наш народ, но П. М. старался иногда найти в людях, служащих у себя, и вообще в них пробудить любовь к природе — свою любовь к цветочкам и красоте, заинтересовать их этим. Из-под его руководства вышло несколько более или менее опытных садовников. В сельском хозяйстве он сначала увлекался новыми течениями, потом разочаровался и в них (по недостатку, может быть, выдержки и еще более средств) и остановился на обыкновенной трехпольной системе. В обществе образованном он был всегда живой, оригинальный, остроумный собеседник, таким был до самых последних дней своей жизни. В нем сердце было по природе мягкое, даже, наверное, не лишенное большой доли сентиментальности и романтизма — но живя среди — грубого (Алмазовка необыкновенно грубая, дикая деревня — грамотных почти нет), он волей-неволей и с народом стал груб, трезв, а

главное — хитер (его не перехитришь). Таковы отзывы о нем. И всю нежность своего сердца он перенес на свои цветы и на своих родных — с которыми приходилось ему чаще видеться в последнее время, в том числе и на меня.

В религиозном отношении он давно был — свободомыслящий, не признавал обряда, из-за какой-то обиды на священника, не бывал в церкви, — отвык и вовсе от нее. Попов презирал, да просто и не чувствовал в церкви потребности. Это, в прежние годы, когда народ у нас хотя и по наружности, но все-таки крепко держался за православную церковь, за весь обряд, это соблазняло народ и тоже прибавляло свою долю в недоброжелательстве народа к нему.

В последние годы я ни разу не чувствовал свободы — откровенно заговорить о вере — с ним, но осторожно все же заговорил с ним о своем личном отношении к православию; П. М. и не высказывался, но все же высказывал несколько раз в том смысле, что верит в существование Бога. Что у народа нет Бога, что народ забыл Бога. Раз говорил очень одушевленно о Христе и Его учении, выше которого нет ничего и т. д. Наконец сетовал на слабое влияние духовенства на народ, об отсутствии дисциплины в самом духовенстве, а когда я ему недавно рассказывал об избрании патриарха в Москве и о трагической обстановке, в которой происходило это избрание, он плакал и говорил, что может быть начнется возрождение Церкви, а отсюда и новая эра в жизни русского народа. Дай Бог. Замечательно, что он Марию Ив<ановну> перед смертью три раза перекрестил.

Судьбы Божий неисповедимы. Грешен человек. Он умер без причастия, и пять дней его тело валялось в сенцах, на полу, без христианского погребения. Страшные мучения принял он здесь на земле, чтобы неповиновение Церкви было видимо наказано, но грех его теперь не на нем, а на тех, кто убил его. А к Богу милосердному его душа возвращается, очищенная страшными наказаниями и страданием, понесенным на земле, хочется так верить и молиться. Так спасает Господь и не хотящих спастися. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу — во веки веков. Аминь.

1917

КОММЕНТАРИИ

Ч. 1: (Сестра Маша) / Публ. З. Г. Минц и Э. Шубина // Тр. по рус. и слав, филол. Т. 28: Литературоведение. Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1977. Вып. 414. С. 109; Ч. 2: «Отказ от войны»; Ч. 3: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа» / Публ. С. Б. Бураго // Collegium. 1993. № 2. С. 132; и по другому источнику текста: Публ. В. С. Баевского // Рус. филол. Учен. зап. Смоленского гуманитарного ун-та. Смоленск, 1994. С. 193.

История текста не вполне ясна, сведения о ней отчасти противоречивы. Автограф ГГ погиб. Список, сделанный с него младшим братом автора Михаилом — «Записки Леонида Дмитриевича Семенова-Тян-Шанского, переписанные рукой его брата Рафаила Дмитриевича. Сами записки были уничтожены при убийстве Л. Д. Семенова в 1917» (Архив РАН (СПб.) Ф. 873 (М. Д. Семенов-Тян-Шанский). Оп. 1. Ед. хр. 86; подробно о нем см. в статье на с. 444 наст, изд.) — стал источником нескольких копий. Одна из них, к сожалению дефектная, как свидетельствует З. Г. Минц, оказалась в ее руках. Другая попала в руки С. Б. Бураго. Он пишет, что опубликованный им текст получил от сестры автора В. Д. Семеновой-Тян-Шанской-Болдыревой. К сожалению, в его публикации текст заметно окультурен. В настоящем издании текст ГГ публикуется по машинописи, предоставленной нам Михаилом Арсеньевичем Семеновым-Тян-Шанским.

По полученному нами тексту хорошего качества мы опубликовали в 1994 г., как указано выше, вторую и третью части записок и восстановили купюры, которые З. Г. Минц пришлось сделать в первой части из-за дефектности текста и требований цензуры. По данному тексту записки ГГ в настоящем издании публикуются полностью.

Особую проблему представляют лексика, орфография и пунктуация памятника. Они семантизированы таким образом, что отражают уход Семенова от высокой культуры образованного слоя населения. Разрыв с нормами высокой культуры на уровне лексики отражается в появлении окказионализмов, диалектизмов и других элементов некодифицированного словоупотребления; на уровне орфографии проявляется более всего в несоблюдении норм согласования словосочетаний и слитного-раздельного написания слов; на уровне пунктуации — в расширенном многоточии (пять, иногда четыре или шесть точек вместо трех), в принципиальном несоблюдении правил оформления прямой речи, причастных и деепричастных оборотов, придаточных предложений, в уклонении от использования вопросительного и

восклицательного знаков, в необычном сочетании знаков препинания вроде?!. или!: Указанные особенности языка памятника гармонируют с его содержанием, так что приведение лексики, орфографии и пунктуации к современной литературной норме существенно его обеднило бы.

Синтаксис, пунктуация, иногда орфография Л. Д. Семенова неповторимо индивидуальны. Они сочетаются с неологизмами, диалектизмами (розь, смысленный, опечка), с упрощенным синтаксисом. Их передача имеет глубокий смысл. Нарушения норм литературной речи опосредованно связаны у него с отказом от традиционной культуры, с нравственными и религиозными переживаниями сокрушительной силы. Он стремится к простоте, в пределе — к примитиву, который на фоне привычной нормы становится высоко содержателен и эстетически значим. При публикации его текстов, не видевших типографского станка, и републикации произведений, рукописи которых не сохранились, задача публикатора — как можно бережнее передать все значимые особенности индивидуального стиля. Внимательному читателю бросается в глаза разница в слоге и пунктуации текстов 1900–1904 гг., когда Семенов создавал символистОкие стихи и «прозу поэта», в стихах и прозе 1907–1909 гг. — времени наибольшей близости к революционному движению, в письмах к Толстому, язык которых несет на себе следы влияния языка публицистики и писем Толстого, и записок ГГ (1914–1917), в которых Семенов, казалось бы, не ставил перед собой, во всяком случае явно, никаких художественных задач.

Исследование языка и стилей Семенова разного времени и разных жанров выходит далеко за пределы настоящего издания. Здесь мы привлечем внимание читателя к особенностям пунктуации записок ГГ — завершающего труда Семенова, вобравшего в себя все его искания.

Начнем с многоточия. Этот знак Семенов употребляет довольно часто и ставит вместо трех точек пять. (Иногда вместо пяти точек стоит четыре. Решить, Семенов ли был непоследователен, переписчики ли, не представляется возможным.) Сами по себе пять точек не несут в себе какого-то определенного смысла по сравнению с тремя; важно, что это нечто ДРУГОЕ. Художественный прием. Броское остранение.

Одновременно в этой частной подробности — протест против традиционной культуры, от которой Семенов уходил всеми доступными ему путями.

Однако когда такие расширенные многоточия собираются несколько подряд, то уже выясняется и третий аспект явления; расширенное многоточие поддается семантизации как указание

более значительных, чем при трех точках, перерывов в речи. Пауз. Молчания: Что ж тогда будет, если так….. Человечества не будет…..Я….. Я не понимаю….. Где стоят точки, там речи нет. Там молчание.

По свидетельству близко знавшего его в студенческие годы Блока, в начале своего пути Семенов долго не хотел печататься (ЛН. Т. 92, кн. 1. С. 532). И печатался всего девять лет. В 29 лет он, добившись выдающихся литературных успехов, перестал публиковать свои произведения. В этом есть что-то сродни исихастам. Мистическая составляющая личности Семенова была явственно видна. У исихастов молчание, углубленное самосозерцание было связано с постижением Бога.

Расширенные многоточия нагнетаются Семеновым в трех случаях: при рассуждениях о Боге, при воспоминаниях о сестре Маше, которая привела его к поискам вне церкви истинного Бога, и при безрадостных мыслях о России во время революции 1917 г. Таким образом, он устремляется к молчанию более всего ввиду мыслей о Боге и о родине — о самом важном.

Семенов еще далее идет по своему пути, наращивая знаки молчания с помощью сочетания расширенного многоточия и тире (….. -) и тире и расширенного многоточии (-…..): вместе росли, учились, играли….. - теперь он спал, то стонал, то вздрагивал <…>; люди его образа мыслей и стремлений жизнь на земле ценили, любили — …..но мы живем в такое время, что и не верующим по-христиански остается только завидовать покойникам <…>

Каков смысл сочетания знаков точки и тире (. -)? По нашему мнению, он близок к расширенному многоточию. В этом сочетании знаков точка обозначает конец предложения, а тире что-то вроде «Давайте помолчим, прежде чем говорить (читать) дальше»: <…> обо мне, слова Иоанна Златоустого, Василия Великого Блаженного, Иоанна Богослова. — Сколь бедственна была их жизнь на земле, разве не знают они и наши скорби и нужды…..

В этом же ряду, на наш взгляд, стоит отказ от вопросительного и восклицательного знаков с заменой их точкой или расширенным многоточием там, где они согласно традиции необходимы: — Но неужели же вы действительно нашли близких по душе — людей из простого народа. Отказ от вопросительного и восклицательного знаков знаменует не отказ от речи, но приглушение ее. И такова же природа пропусков знаков препинания вообще: <…> мы с братом взялись класть печь у одного разорившегося крестьянина старика <…> Пропуски свидетельствуют об уходе от традиционной культуры, вызывают

остранение, останавливая внимание читателя, и приглушают речь.

Иногда знак вопроса появляется там, где он не нужен, но здесь нарушение пунктуационной нормы смягчается отказом от прописной буквы вслед за этим знаком: Готовился дать миру отчет, отчего и почему я ушел от него? что делаю и что хочу делать помимо и независимо от него? какое мое отношение к нему? <…>

Семенов не придерживается общепринятых правил оформления прямой речи: 1) Губернатор поздоровался, сказал: здравствуйте и с любопытством окинул нас взорами. Мы отвечали: Мир. 2) Спросил не прямо об этом, а только так:

— Как отношусь я к скопцам? И сам немного застыдился <…>

Формы авторской, прямой, несобственно-прямой, косвенной речи у Семенова свободно перетекают одна в другую. В первом примере прямая речь (здравствуйте; Мир) никак не обозначена. Во втором начало ее обозначено, а конец нет; но то, что выдается за прямую речь, в действительности речь косвенная.

Мы видим в этом все те же три тенденции: приглушение речи, прием остранения и стремление к примитиву.

Семенов непоследователен. Он исихаст, запретивший себе печататься, — и художник слова, который буквально до последнего дня своей жизни не положил пера. Последнюю запись в ГТ он сделал за несколько часов до своей мученической смерти. Он писал Толстому — и тут же просил свои письма уничтожать. Эта противоречивость отражается и в его пунктуации. Кроме показанных выше знаков молчания, в ГГ встречаются и экстравагантные знаки повышенной эмоциональности: и!?. (восклицательный знак, вопросительный знак и точка), и!: (восклицательный знак и двоеточие). Наряду с ними употребляются и более привычные!? и?!

И сочетание знака повышенной эмоциональности со знаком молчания (восклицательного (1) или вопросительного (2) знака с расширенным многоточием): 1) На лбу, с правой стороны, зияет огромный пролом. Вот конец!…. Его хоронили одни бабы. 2) — Кому ж еще веровать?….

Наконец, в некоторых случаях остаются только функции остранения и ухода от традиционной культуры, без устремления к традиции молчания; таково сочетание восклицательного знака и запятой: — Невозможное положение! воскликнул исправник. Вопросительного знака с точкой: Не грех ли это с вашей стороны?.

Если текст, насыщенный знаками молчания, приглушения

речи, смены точек зрения (адресантов) в пределах одного высказывания без принятого в литературном языке оформления производит впечатление примитивной, не слишком грамотной речи, то знаки повышенной эмоциональности напоминают о том, что такое впечатление — результат сознательной стилевой установки. До десяти лет первым языком автора, как у Пушкина, был французский; он окончил немецкую гимназию; был серьезным музыкантом, акварелистом; прошел два факультета Санкт-Петербургского университета. На пути к ГГ он ходил оборванный, в лаптях, отказался от денег, нанимался к крестьянам за еду и работал в шахте, побирался. Сама непоследовательность употребления знаков препинания обостряет остранение и впечатление примитива, ухода от традиционной культуры.

Последнее столетие приучило нас к самым причудливым изыскам в области пунктуации художественного текста. Семенов вступил на этот путь одним из первых в самом начале XX в. Свободное перетекание одной в другую авторской, прямой, несобственно-прямой, косвенной речи сближает Семенова, как ни странно на первый взгляд, с лидером русского авангарда Хлебниковым.

Наши наблюдения можно подытожить так: предел (наподобие того, как понимается предел в математике), к которому стремится пунктуация ГГ, — 1) «остранение»; 2) примитив; 3) тишина, молчание в традиции исихастов.

Описанные особенности языка настолько системны, что сомнения в их принадлежности Семенову не возникает. Мы приняли решение как можно точнее воспроизвести полученный нами текст со всеми его особенностями, лишь исправив явные опечатки (рудуясь на радуясь и т. п.), и позволили себе два редакторских вмешательства: опубликовали отдельно «Размышления о Будде» по причинам, изложенным в комментарии к этому тексту (см. с. 538 наст, изд.), и привели в примечаниях к основному тексту выразительное стихотворение М. М. Добролюбовой, имеющееся в тексте публикации З. Г. Минц и почему-то опущенное в нашем источнике.

Надежных документальных сведений, позволяющих датировать возникновение замысла и время создания произведения, не сохранилось, кроме подробно датированной самим автором работы над заключительной частью. Наиболее вероятной представляется следующая последовательность. Лето 1905 г. — под влиянием личности М. М. Добролюбовой Семенов задумывает роман о современной общественной жизни и о своих духовных исканиях (его собственное свидетельство в ГГ). Вторая

половина декабря 1906 — начало 1907 г. — Семенов начинает писать и публиковать прозу, которую рассматривает как фрагменты будущего романа о сестре Маше и революции (свидетельство С. Дурылина в некрологе «Бегун»; в рассказе «Проклятие» близкий прообраз Серафимы — сестра Маша). Осень 1907 г. — «писал книгу» (письмо Толстому от 28 декабря 1907). «Писал как полезные для себя размышления о жизни, о суете всего кругом, и для устранения еще некоторых последних научных предрассудков, которые иногда являлись и которые приходилось слышать» (письмо Толстому от 3 марта 1908 г.). Эта работа воплотилась в произведениях «У порога неизбежности», «Листки» и «Смертная казнь», которые осмысливались Семеновым как части будущего романа о сестре Маше, революции и поисках пути к Богу. А многое в это время было уничтожено автором: «Ведь я — столько жег и потом так часто раскаивался в этом» (письмо Л. Н. Толстому от 13 июня 1908 г.) 1914 г. — устроив собственный хутор, Семенов начинает составлять ГГ. 1914–1916 — пишет ГГ: часть первую <Сестра Маша> и часть вторую «Отказ от войны». При этом они заметно различаются по стилю (часть вторая более обработана и приближена к литературной норме), так что написаны с перерывом. 1917, 4 ноября — 13 декабря ст. стиля — пишет часть третью ГГ «Во имя Отца и Сына и Св. Духа».

Публикация З. Г. Минц снабжена примечаниями друга Семенова, чл. — корр. АН СССР Б. Е. Райкова. Большинство из них на фоне сегодняшних знаний о жизни, творчестве и времени Семенова утратило значение, но отдельные нам показалось полезным перепечатать. Они приводятся с указанием на авторство Б. Е. Райкова (см.: Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 414).

notes

Примечания

1

…был любим своим профессором-учителем… — Семенов подразумевает профессора классической филологии, в будущем академика Ф. Ф. Зелинского. См. его воспоминания о Семенове: Кто дошел до оптинских врат: Неизвестные материалы о Л. Семенове / Публ. В. С. Баевского // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1998. № 1. С. 57–59.

2

«Человеком с зеркалом» был я, как я и назвал себя тогда однажды сам, в одном писанном мною рассказе… — Такой образ в прозе Семенова неизвестен.

3

…сестра Маша. — «Сестра по духу», а на самом деле Мария Михайловна Добролюбова, дочь генерала, сестра поэта-символиста и жизнестроителя Александра Добролюбова.

4

…я — старший ее по летам… — М. М. Добролюбова родилась в 1882 г.

5

…среди самого разгара сходок и моей борьбы со студенческим движением… — Старосты избирались студентами. В совете старост Семенов оказался одним из немногих правых по политическим взглядам и стал их лидером.

6

…мимолетным виденьем… — Аллюзия на стих. Пушкина «К***» («Я помню чудное мгновенье…»).

7

Хочется вам жизни нужной, как мне смерти нужной. — «Это очень типично для молодежи начала XX в., особенно в эпоху русско-японской войны. Моя сестра Катя, в которую одно время был влюблен Леонид (до Маши), тоже хотела „красивой смерти“ и два раза покушалась на самоубийство, но ее удавалось спасти. У Кати были отношения с ее женихом, моим товарищем по университету и гимназии Святославом Исаевым (братом профессора-экономиста А. А. Исаева), очень похожие на отношения Леонида к Маше. Незадолго до свадьбы он застрелился, считая себя „недостойным“ сестры, а она отравилась стрихнином, но ее спас доктор Мокиевский, врач Высш. бестужевских курсов» (примеч. Б. Райкова).

8

Связи я имею с крестьянским союзом. — Всероссийский крестьянский союз возник в августе 1905 г. и просуществовал до 1917 г. Боролся за интересы крестьян, за отчуждение помещичьих земель и переход их в общественную собственность.

9

…крестьянский союз, трудовая группа… тайный революционный съезд в Гельсингфорсе. — Депутатом Первой Государственной думы Семенов не был. См.: Первая российская государственная дума. СПб.: Труд, 1906. В этом издании альбомного типа дан список всех депутатов с их портретами; Семенова среди них нет. О Всероссийском крестьянском союзе см. примеч. 8. Трудовая группа — фракция в Думе, представлявшая интересы крестьян. Единственный «тайный революционный съезд» в Гельсингфорсе, который нам удалось найти в исторической литературе, — это IV (III всероссийская) конференция РСДРП, состоявшаяся в 1907 г. В 1906 г. Семенов никак не мог рассказывать крестьянам о тайном Гельсингфорсском съезде, состоявшемся в 1907-м. В 1907 г. Семенов уже отходил от революции, да и революция затихала, но все-таки на партийной конференции присутствовать он мог. Он либо ранее, в мае-июне 1906 г., участвовал в какой-то неизвестной нам партийной встрече в Гельсингфорсе, либо стал жертвой аберрации памяти, либо подошел к материалу как поэт и допустил сознательный анахронизм.

10

Учительский съезд. <…> Партийная газета. — Всероссийский учительский союз был основан в апреле 1905 г. Его съезды проходили в июне и декабре 1905 г., в июне 1906 и 1907. Семенов говорит о съезде 1906 г. Партийная газета — вероятно, речь идет о главной газете эсеров до роспуска Первой Государственной думы «Мысль».

11

…приехал из Петербурга, из Гельсингфорса… — См. примеч. 9.

12

В Курске бабушка Брешковская… — Е. К. Брешко-Брешковская (1844–1934) — одна из организаторов и лидер партии эсэров. Активно участвовала в революции 1905–1907 гг., пользовалась большим авторитетом и любовью. В революционных кругах ее называли «бабушка русской революции».

13

…о Свеаборгском восстании… — В Свеаборге (город в Финляндии, одна из баз Балтийского военного флота Российской империи) 17–20 июля 1906 г. произошло восстание революционных солдат, матросов и рабочих. После его подавления 43 руководителя было расстреляно, около 1000 человек приговорено к каторге, дисциплинарным ротам, тюремному заключению (см.: Советская историческая энциклопедия. М., 1969. Т. 12. С. 592–593).

14

Столыпин П. А. (1862–1911) 26 апреля 1906 г. был назначен министром внутренних дел, а 8 июля этого же года одновременно с роспуском Первой Государственной Думы стал председателем Совета министров, сохранив пост министра внутренних дел, и возглавил решительную борьбу против революции. Об этом, очевидно, и рассказала Семенову М. М. Добролюбова. 12 августа на Столыпина было произведено кровавое покушение, от которого он сам не пострадал, но даже если свидание состоялось 12-го, об этом эпизоде рассказать она еще не могла.

15

Присылает мне… книги, Михайловского… — Н. К. Михайловский (1842–1904) — теоретик народничества, яркий публицист и литературный критик, начиная с 1870-х годов — кумир части революционной и либеральной интеллигенции. Активно полемизировал с русскими марксистами, так что М. М. Добролюбова присылала Семенову книги, выражавшие противоположные точки зрения на принципы революционного движения.

16

Чернов В.М. (1873–1952) — один из основателей и теоретиков партии эсеров, в 1917 г. министр Временного правительства, во время Второй мировой войны — участник французского Сопротивления фашистОким оккупантам. В годы революционного движения боролся против «распыления революции», как называл скупку и вооруженный захват крестьянами помещичьих земель; вместо этого предлагал перераспределение земельной собственности мирным путем, через законодательную деятельность Государственной думы и позже Учредительного собрания.

17

Умерла моя бабушка… — Анна Васильевна Заблоцкая-Десятовская, урожденная Грибоедова, род. 11 февраля 1817 г., скончалась 7 ноября 1906 г. (примеч. Б. Райкова).

18

Умерла еще моя тетя родная… — Ольга Петровна Семенова, скончалась 12 ноября 1906 г. (примеч. Б. Райкова).

19

Стали появляться у ней какие-то обмороки. — М. М. Добролюбова была больна эпилепсией.

20

Смерть и время царят на земле <…> Неподвижно лишь солнце любви. — Стих. В. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь…» (Соловьев В. Стихотворения. 5-е изд. М., s. a. <1913>. С. 65). Семенов записывал стихи по памяти: знаки препинания в конце 1–3 стихов отличаются от авторских.

21

Ты бескровная, высокая <…> И молиться и песенки петь. — В публикации З. Г. Минц и Э. Шубина далее помещен еще один фрагмент, отсутствующий в нашем источнике. Приводим его полностью:

Я красива,
Не спесива,
И пою я
Без мотива.
Ветерочек
Лепесточек
Мой, шутя, колышет,
Всякий странник
И изгнанник
Мои песни слышит.

Эти стихи, написанные М. М. Добролюбовой, воспроизведены ее младшей сестрой.

22

Трудно, трудно тебе, Павел, идти против рожна… — Деян 9: 5.

23

Возьмите иго Мое на себя и бремя Мое, ибо иго Мое благо и бремя Мое легко. — Мф 11, контаминация ст. 29 и 30. Точный текст Евангелия: «29. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; 30. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

24

Взгляните на птицы небесные, и на лилии полевые, они не сеют, не жнут… — Мф 6, контаминация в свободном пересказе ст. 26 и 28. Точный текст Евангелия: «26. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?». «28. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут».

25

Кто говорит: я люблю Бога <…> Бог есть любовь. — Контаминация трех стихов Первого Послания Иоанна. Полный их текст таков: «20. Кто говорит: „я люблю Бога“, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (гл. 4) «7. Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. 8. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (гл. 4).

26

…тот брат <…> мне помогал. — Личность не установлена.

27

Опечка — основание печки.

28

…написал письмо к брату Душану Петровичу (Маковицкому) … — Д. П. Маковицкий (1866–1921) — домашний врач и близкий друг Л.Н. Толстого.

29

А помещик был превосходительный. — т. е. в генеральском чине.

30

…Выборгским воззванием, тоже призывавшим население к отказу от воинской повинности. — Обращение группы депутатов Первой Государственной думы к гражданам России с призывом отказаться от уплаты налогов и исполнения воинской повинности в знак протеста против роспуска Думы. Принято 10 июня 1906 г., практических последствий не имело, подписавшие его были преданы суду.

31

…утвердительно… — В источнике текста: отвердительно.

32

…где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их. — Мф 18: 20.

33

Нас ли разлучит совопросничество книжных и умных неверующих этим словом Его?! — В источнике текста: его.

34

…Дух остановил Павла идти в Асию… — Точный текст: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии» (Деян 16: 6).

35

…Дух указал Филиппу подойти к богатой колеснице евнуха царицы Ефиопской, когда тот читающий пророка Исайю повстречался ему. — Точный текст: «Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исайю. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице» (Деян 8: 27–29).

36

Вытащил газеты с портретами моего деда… — Дед автора П. П. Семенов-Тян-Шанский (см. статью в наст. изд.) был одним из ключевых деятелей реформы 19 февраля 1861 г., отменившей крепостное право.

37

Саров — мужская Саровская пустынь Тамбовской губернии, основанная в XVII в., приобрела известность строгостью жизни монахов.

38

Старец Серафим — преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор Сидоров Мошнин (1759–1833), старец-пустынножитель, молчальник и затворник. Многие стекались к нему исповедоваться. В первые два десятилетия XX в. Саровская пустынь привлекала особенно много богомольцев после открытия в 1903 г. мощей преподобного Серафима Саровского.

…всем… — В источнике текста: все.

40

…сестра Маша! — М. М. Добролюбова; см. Часть первую ГГ.

41

…деньги плати. — В источнике текста: плать.

42

Соня — Софья Григорьевна Еремина, дочь крестьянина-скопца, разделяла взгляды Л. Д. Семенова и была его невестой.

43

Оптина пустынь — находится в бывшем Козельском уезде Калужской губ., основана в XIV в.

44

Рафа — Рафаил Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1879–1919); после смерти брата Леонида он записал: «Хороший, добрый Леля — столь близкий мне, — сколько раз мы отходили друг от друга, осуждая друг друга и даже злобствуя быть может друг на друга — и затем снова притекали друг к другу, внутренне понимая друг друга и ценя» (Архив РАН (СПб.). Ф. 783. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 14). 30 октября 1917 г. Рафаил так описал это покушение дяде А. П. Семенову-Тян-Шанскому: «Пришлось и мне кровью пострадать и к сожалению и к глубокой моей патриотической скорби и боли не на честном поле брани с внешним врагом, а от предательской пули российского гражданина — выстрелившего в меня через освещенное окно в то время, как я, вернувшись из поездки, готовился ужинать у семейного очага. Пуля из револьвера Нагана вошла несколько ниже левой скуловой кости (угла ее за глазом), пронизала скуловую кость и вышла наружу в нижней части правой височной и застряла в дверном косяке внутренней стенки. <…> Произошло это 19 октября около 9 вечера» (Архив РАН (СПб.). Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 25–25 об.).

45

Я читал жизнь Георгия Затворника Задонского. — Вероятно, речь идет о книге: Добронравин К. Георгий, затворник Задонского монастыря. СПб., 1869.

46

Зина — Зинаида Васильевна Семенова-Тян-Шанская (? — конец 1960-х годов), жена Р. Д. Семенова-Тян-Шанского.

Dann muß rasch energisch anfangen… — Скорее! (нем.)

Ah, es ist schon gut… — Это хорошо (нем.)

49

13-го Ноября 1917 г. — Накануне этого дня, 12 ноября 1917 г., Л. Д. Семенов писал матери: «Я стараюсь никуда не показываться, сижу у себя дома. Ехать ведь мне отсюда некуда, да и где же теперь безопасность. В это время безопасность только в смирении и в преданности воле Божией. Я ни в какую политическую борьбу не вмешиваюсь, а только скорблю о происходящих ужасах. Сам же близко принимаю к сердцу только судьбу Церкви, потому что, думаю, только оттуда и может прийти спасение России» (РГАЛИ, Ф. 1316. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2).

50

Аречка — Ариадна Дмитриевна Семенова-Тян-Шанская, в замужестве Мит(т)ул (1885–1920), сестра Л. Д. Семенова.

51

Миша — Михаил Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1882–1942).

52

Коля — Николай Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский (1888–1974).

53

Шура — Александр Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский, впоследствии епископ Александр Зилонский (1890–1979).

54

Верочка — Вера Дмитриевна Семенова-Тян-Шанская (1883–1982), сестра Л. Д. Семенова.

мутное время… — Так в источнике текста. Возможно, автор имел в виду Смутное.

56

…батюшка Анатолий велит в письмах… — Оптинский старец отец Анатолий благословил Семенова принять священнический сан.

57

Но слухи не покойные… — В письме к матери от 10 декабря 1917 г., сообщив о гибели П. М. Семенова, Л. Д, прибавляет: «Я живу пока в сторонке, но и поглядываю на сторону. Т. е. скорее всего тоже куда-нибудь отсюда удалюсь и понемногу готовлюсь к этому. Лично мое положение пока еще прочно. Но очень уж гадко здесь жить. Хочется иного. А народ надо предоставить самому себе — сама жизнь и само дело его всему научат» (Архив РАН (СПб.). Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр., 87. Л. 31). Жить ему оставалось три дня. Через несколько дней после гибели брата, сообщая в письме к матери горестную весть, Ариадна рассказала: 11-го декабря она последний раз навестила брата, «поночевала у него в его светлом, теплом, уютном и таком аккуратном гнездышке» (Архив РАН СПб.). Ф. 722. Оп. 1. Ед. хр. 87. Л. 36)